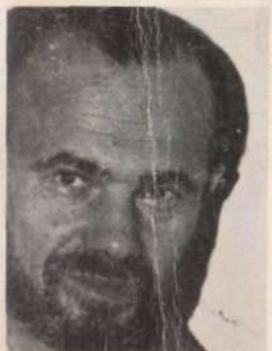


ВРЕМЯ ИМБТ 63 1981



В ЭТОМ НОМЕРЕ:

- ДВЕ ЖИЗНИ ГЕРОЯ ЗИНИКА
- РАССКАЗ ИГОРЯ ПОМЕРАНЦЕВА
- КОНФУЦИЙ И СОЦИАЛИЗМ
- ЛИКИ РУССКОЙ ИДЕИ
- ДОСТОЕВСКИЙ И ЗАПАД
- ОДИН ВЕЧЕР С ИОСИФОМ БРОДСКИМ
- ЖИВОПИСЬ ЛЬВА МЕЖБЕРГА

1. Эдуард Шнейдерман
Лирические стихи
2. Зиновий Зиник
Ниша в Пантоне
3. Евгений Наклеушев
Что такое социализм?
4. Владимир Шляпентох
Десять писем в Россию

ВРЕМЯ И МЫ

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЖУРНАЛ
ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ**

Седьмой год издания

Выходит один раз
в два месяца

**63
1981**

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ

НЬЮ-ЙОРК — ИЕРУСАЛИМ — ПАРИЖ

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВРЕМЯ И МЫ" — 1981

**ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ :

**ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА
ИЛЬЯ ГОЛЬДЕНФЕЛЬД
МИХАИЛ КАЛИК
АСЯ КУНИК
ЛЕВ ЛАРСКИЙ
ЛЕВ НАВРОЗОВ**

**КАРЛ ПРОФФЕР
АЛЕКСАНДР ПЯТИГОРСКИЙ
ИЛЬЯ СУСЛОВ**
Дора Штурман (зам.гл.редактора)
ЕФИМ ЭТКИНД

Израильское отделение журнала "Время и мы"

Заведующая отделением Дора Штурман

Адрес отделения: Jerusalem, Talpiot mizrach, 422/6

Французское отделение журнала "Время и мы"

Заведующий отделением Ефим Эткинд

**Адрес отделения: 31 Quartier Boieldieu, 92800 PUTEAUX
FRANCE**

Представители журнала:

Англия Александр Штронас
Croft House, Top Flat 32 New Hey Road Rastrick,
Brighouse W. Yorkshire HQ6 3P2 ENGLANO

Канада Юрий Лурьи
305 Robson Hall Winnipeg, Manitoba Canada R3T 2N2
t. (204) 474 9773

Западный Juscwa Mischijew
Берлин Hussiten Str, 60, 1000 Berlin 65

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Зиновий ЗИНИК

Ниша в Пантеоне. Фрагменты из романа 5

Игорь ПОМЕРАНЦЕВ

Монолог. 53

Илья СУСЛОВ

Два рассказа. 71

ПОЭЗИЯ

Эдуард ШНЕЙДЕРМАН

В этой мгле искру выжечь... (Предисловие Е.Эткинда) ... 91

Михаил АЙЗЕНБЕРГ

Нет следов ни добра ни яда 111

София ДУБНОВА

Моя родословная 116

ПУБЛИЦИСТИКА. ФИЛОСОФИЯ. КРИТИКА

Евгений НАКЛЕУШЕВ

Что такое социализм? (К "исправлению имен"). 119

МАРРАН

Лики русской идеи 141

Вольфганг ШТРАУС

Достоевский и Запад 161

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Белла ЕЗЕРСКАЯ

Один вечер с Иосифом Бродским. 175

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Владимир ШЛЯПЕНТОХ

Десять писем в Россию. 187

ЮМОР

Александр и Лев ШАРГОРОДСКИЕ

Два рассказа. 224

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"

Живопись Льва Межберга 247

Герой нового повествования Зиновия Зиника — эксцентричный профессор мета-логики и спец по советскому уголовному кодексу, рассеянный человек, по имени Револют, попал в Иерусалим с советским паспортом, когда "в виду представившейся возможности" был выслан из Москвы за границу. В сталинские годы он поплатился выбитыми зубами за то, что, издеваясь над следователем во время допроса, признался, что подрывал советскую власть по указу агента империалистической разведки Анатоля Франса, проживающего в парижском Пантеоне. По прибытии в Иерусалим он вставляет себе новые искусственные челюсти и начинает жить жизнью одинокого эмигранта, пока цепочка нелепых инцидентов не заставляет его прийти к макабрическому* умозаключению: потеряв очередной предмет, связанный с его московским прошлым, Револют оказывается виновным в смерти человека, с этим предметом связанного. Для проверки этой невероятной гипотезы он и отправляется в паломничество, по дороге коллекционируя "мертвые души" эмиграции, за которые ему предстоит отомстить, когда беспокойная тень гуманиста Анатоля Франса в склепе парижского Пантеона подсказывает ему план освобождения России от советской власти.

В публикуемых ниже двух главах романа мы застаем Революта в его иерусалимской квартире, после того как на него чуть не налетел городской автобус. Этот автобус разнес в пух и прах собрание сочинений Анатоля Франса, присланное ему из Москвы его теткой; в том же автобусе Револют потерял сумку со своим любимым чтением — советским уголовно-процессуальным кодексом. Перед тем как отправиться в свое паломничество, Револют пытается найти пристанище своей дворняжке Каштанке под Иерусалимом у некой странной личности — дрессировщика Матраскина. Фантастический рассказ Матраскина о его жизни в России и Израиле — одна из самых блестящих глав романа.

В полном виде книга "Ниша в Пантеоне" будет опубликована по-русски в издательстве "Синтаксис" и по-французски в издательстве "Альбан Мишель" (Париж) в конце 1982 года.

* Macabre — похоронный, погребальный, мрачный (франц.).

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.



Зиновий ЗИНИК

НИША В ПАНТЕОНЕ

(Фрагменты из романа)

Тетрадь № 5.

Суп остыл, а подогревать его было лень, и вообще важен был сам факт наличия супа, а не то, что ты его ешь. На письме тетки Блюмы Карловны остался выжженный круг от поставленной на письмо кастрюльки.

"По краешку надо ходить и всех надо держать на расстоянии выстрела, Каштанка, — рассуждал Револют, обращаясь к Каштанке. — А иначе можно свихнуться: иначе тебе быстро припишут вину за их душевную безответственность. У всех у нас в душе монастырь или, если хочешь, крепость, а если не возражаешь, то это и не монастырь и не крепость, а — зона. И зону эту мы несем в тайне даже от самих себя, и посторонних держим на расстоянии выстрела из пулемета на вышке. Это такая пустота, и мы вокруг нее бродим и ищем пропуск к железным воротам этой засекреченной зоны. И в зоне этой мечутся прожекторы, а за зоной темнота и вьюга. Такая колючая пограничная проволока, и попробуй рвануться на волю, —

и ты увидишь, что вне закона и давно расплывался со всеми и со всем, потому что давно поставил крест и шестиконечную звезду с отбитым концом на этой жизни; но чуть шаг в сторону зоны — и там воют движки слепящих прожекторов. И вот эта до сих пор непройденная колючая изгородь зоны — и есть верная грань: она и есть родина, и бог, и слава, и свобода. И всякое уклонение от нее и есть предательство: себя, друзей и родины и чужбины. Но ведь никто не хочет эту суму и посох предпочесть хорошо госпитализированному безумию, — рассуждал Револют, глядя в окошко, как будто из купе поезда; когда с Белорусского вокзала пошли на Запад поезда, он произносил прощальную речь. Те же слова. Только под взмахи чепчиков и беретов, наполовину высунувшись из окна, а поезд все не трогался с места и ему кричали: "Ну ладно, покатайся и хватит, сходи с поезда!" Но Револют, однажды вскочив на площадку поезда, уже не мог шагнуть обратно. Тишка-парнишка собрался тайком, из Дрембы в Бембу ушел вечером. И не может появиться даже на три дня.

Надо было как можно быстрее избавиться от этих улик прошлого, то есть побыстрее разорвать на клочки тетушкино письмо и сжечь, пепел перемешивая. Но для этого надо было на него ответить, а чтобы ответить, надо было вскрыть другое письмо, мозолящее глаза околышком авиапочты, чтобы не попасть впросак: а вдруг новые показания опровергнут прокурора? "Не могу избавиться от чувства вины перед заслуженной сотрудницей ортопедического отделения нашей поликлиники", — стал читать Револют, распечатав конверт и обращаясь к единственной собеседнице — Каштанке, которая в этот момент доедала суп. "Блюма Карловна всю свою нелегкую трудовую жизнь была горячо предана... почему "была"?" — задумался Револют, и тут Каштанка, забыв про суп, заскулила. Все письмо было написано в прошедшем времени и представляло собой лично написанный Наумом Александровичем некролог револютовой тете. Этот некролог он подписал по привычке своим полным званием зав.отдела, но написано оно было в какой-то потаенной спешке, когда забываешь, кому пишешь — любовнице или государственному прокурору, и брошено это письмо в почтовый ящик с оглядкой,

наверное, мимо щели, потому что видно — упало на асфальт и на нем был отпечаток чужого сапога, а обратного адреса не было выставлено.

Еще толком не придав значения прошедшему времени в этом письме, Револют читал, что скончалась Блюма Карловна от кровоизлияния в мозг. Кровоизлияние наступило, когда она упала, сильно ударившись головой об лед. Об лед она ударилась, когда пыталась догнать отъезжавший от остановки автобус и поскользнулась, потому что была гололедица, а дворники не скололи вовремя лед, а только присыпали его солью с утра, но как раз около остановки осталась тонкая корочка льда на шоссе. И на письме, как будто следами от этого подтаявшего ледка, были пятна от слез Наума Александровича. Но Револют не мог сдержать усмешки облегчения: последний адресат вычеркнут, писем дальше можно не писать. И только потом, когда прищуренным воображением он увидел тетку, бежавшую с побелевшим лицом и авоськой в руках, и дверь автобуса захлопывается у нее перед носом, Револютова усмешка завяла на губах гримасой.

Я помню этот день. Этот вид из окна перед закатом, когда исчезают люди и остаются пустые холмы с надгробьями домов, памятники по собственным поминкам, и между ними ходят тени, потому что, когда один луч пробегает сквозь надгробья, его пересекает громада другого кургана, как тень на похоронах под невидимыми свечами. И Револют видел между ними бегущую Блюму Карловну, но вот она поскользнулась, дернулась сначала вверх, а потом вниз, ударом головы об лед, и взметнулось драповое пальто, блестящее после, сорока лет ежегодной чистки, и облезлая меховая горжетка запуталась вокруг шеи, а ноги дернулись вверх, ноги, обутые во что? — в туфли фабрики "Большевичка", во что же еще ей быть обутой! Никакой другой обуви она и не думала покупать. Только обувь фабрики "Большевичка": она постоянно указывала на то, что только на "Большевичку" можно всегда целиком и полностью положиться, что туфли этой фабрики служат ей по двадцать лет, и хотя не слишком следуют моде, но зато имеют правильную ортопедическую форму каблука и легкость, что незаменимо при их семейном плоскостопии,

а главное — байка прочно хранит тепло в отличие от этих новейших искусственных прокладок, и при наших морозах в них, как в валенках. На нее можно положиться, как на самое себя, на "Большевичку". И вот она-то и подвела. Она на них положила, а они-то и подвели своей скользкой подошвой. Потому что слишком была с ними связана: и дома и на работе, чуть ли не спала в них, когда ночная смена в поликлинике. Да были ли они собственно такие уж надежные? Они ведь не держали иерусалимского кремня, те, которые тетка подарила специально перед отъездом, на вокзале, когда пошли на Запад поезда: туфли были черные, покрытые лаком и слепили глаз иерусалимским солнцем, выдавая себя с головой, и они были не по годам остроконечные и большой палец был всегда на-терт. Слава Богу, теперь пальцами можно было спокойно шевелить, поскольку они наконец порвались к чертовой матери, вспомнил Револют и вдруг вздрогнул от взрыва за окном. Взрывы раздавались каждый час: недалеко была расположена меловая каменоломня.

На этой каменоломне он подбирал, прогуливаясь, мелки, чтобы потом крошить их о черную доску на стене, меловой крошкой и пылью измазывая себя с головы до ног и Каштанку до хвоста. И сейчас он, невольно отряхнувшись от этой постоянной пыли, обнаружил, что измазан вовсе не мелом. Он обнаружил, что весь в ссадинах, что одна штанина порвана на колене, а другая вся в желтой пыли, что лицо измазано автобусной копотью. Он в тот момент снова потянулся к письму и отдернул руку: только тогда до него дошло, что он, собственно говоря, спорил с умершим человеком, спорил с близким на том свете, откуда не ходит почта, но растет заочный открытый счет. Он снова увидел себя в столбе пыли, оседающем после того, как умчался автобус, и в одной руке порванный башмак фабрики "Большевичка", а в другой обертка от книжной посылки с приклеившимся письмом тетки. И увидел ее, мчавшуюся за автобусом, и скользкий каблук фабрики "Большевичка" по льду. И себя, скребущего туфлем той же марки иерусалимский курган, и, как эта незнающая изьяна подошва продирается так, что была большевичка, а осталась боль. Как будто автобус, который она так и не догнала, пытался сбить его, Революта.

"Не усматриваешь ли, Каштанка, в этом странную закономерность?" — прищурился Револют. Я думаю, с этого момента, именно в ту секунду и началось его помешательство (я теперь не сомневаюсь, что это было серьезное помутнение рассудка, все, что произошло, но сейчас уже ничем не поможешь). Именно это и учуяла Каштанка, собаки ведь чутки к наводнениям, землетрясениям и другим стихийным бедствиям. Ей явно стало не по себе, потому что повела она себя необычно: никогда не желавшая подчиняться дрессировке, она вдруг заскулила и совершила недоступное: она встала на задние лапы перед Револютом, передние лапы сложила просительно, как человек ладошки перед мусульманской молитвой, и вдруг жалостливо замахала ими, прося и умоляя его как будто успокоиться, пытаясь допрыгнуть до лица Революта и лизнуть его в нос. "Не веди себя, как все мои близкие, моя милая, — сказал ей Револют, и потом добавил.—

Впрочем, я каким-то странным образом вышел из-под их надзора: их просто нет на свете. Впрочем, трудно найти улики моей причастности к их преждевременной смерти. Да и не может быть никаких улик. Мало ли что эти проклятые туфли получил в подарок! Ну и что? У меня полное алиби: ведь туфли порвались после того, как тетка скончалась, после, а не до. И тому есть доказательство: достаточно взглянуть на почтовый штемпель на извещении от Наума Александровича; шло его письмо неделю, быстро, но все же неделю. А мои туфли порвались только сегодня, то есть на неделю позже. То есть не я послужил причиной ее смерти, не мое наплевательство на фабрику "Большевичка", а просто-напросто безалаберность и халатность дворников, не посыпавших лед песком и солью. Сначала она скончалась, а потом продрались мои подметки", — еще раз повторил он, себя убеждая и себе не доверяя. Ему казалось до этого, что он страдает манией преследования, что за ним гонятся автобусы и в них вместо лиц свиные рыла, а тут выяснилось, что у него не мания преследования, а рассеянный склероз. Или клептомания: незаметно для самого себя украсть чужую жизнь и бросить ее в первую попавшуюся урну.

* * *

Он уже давно стал отмечать пропажи. И тем был доволен: они пропадали, эти улики собственного прошлого, и вместе с ними исчезала память о людях, с ними связанных. Отпадали, как яичная скорлупа, отпадали буквально, исчезали из кармана, терялись, портились, рвались — все эти носильные и постельные свидетельства московской канители. Он, в конце концов, и становится другим, сменившим собственную шкуру: и началось это с потери удостоверения новоприбывшего. Он так и знал, что потеряет это удостоверение: нельзя не потерять того, что считаешь бессмысленным. Или потерять, или позволить, чтобы у тебя украли. Ищи потом в бюро находок! Но как человек, уважающий законодательство страны проживания, Револьт посчитал своим долгом заявить о пропаже удостоверения личности, чтобы им не воспользовался враг. Для того чтобы заверить заявление о пропаже, надо было явиться в мировой суд, на Русской площадке, напротив "красной" православной церкви, сияющей белизной среди гигантских сосен. Надо было миновать башню им. царя Николая и обойти железную решетку, где в гигантской яме покоилась археологическая знаменитость местного значения: гигантская, метров в десять колонна, почему-то расколота посередине, как будто строили храм, и она вдруг раскололась, и ее бросили. Называлась она "пальцем Голиафа". У этого гигантского отрубленного пальца примостилось здание центральной полиции, а за ним и стояло здание мирового суда: с гигантскими галереями, переходами и дверями без номеров и наименований. Приходилось в каждую стучаться и просовывать голову, убеждаясь, что попал не туда.

Он чуть не опоздал: клятвopриемщик появлялся ровно в полдень, ни минутой позже, заносил в список клятвopриносителей, и, если опоздал, приходи через неделю в то же время. Перед Револьтом стоял священник в черной рясе с газетой "Наша страна" в руках, а за ним араб с белой бабьей накидкой на голове. Для клятвы всех ввели в специальную клятвopриемницу. Там были двойные двери, и сквозь одну из них проглядывала зала с небольшой кафедрой. Когда они уселись на стулья, подул ветер, и из этой залы стали влетать в комнату ожидания бумажки, чьи-то, наверное, клятвы, и все за-

стыли, решив, что клятвopриемщик — человек-невидимка и сейчас окликнет каждого по имени. Но он появился из противоположной двери, застав всех врасплох, и оказался щедеушным нотариусом в очках с железной оправой, в пиджаке и без галстука, с отложным дачным воротом рубашки. Револьт сидел и следил, как нотариус, ловко выбрав одну из трех книг левой рукой, предложил их священнику и потом правой рукой с пером наготове подмахнул его заявление. Потом был араб: он положил руку на другую книгу и тоже в чем-то поклялся. И тогда до Револьта дошло, что ему придется клясться на Библии, на Ветхом завете. Священник на Евангелии, араб на Коране, а ему на Ветхом завете. И какой рукой — правой или левой? Надо было одеть ермолку и говорить одну только правду? И когда подошла его очередь, он не знал: на какую вечную книгу положить свою бrenную ладонь для бессмертной клятвы? Пока не понял, что не может поклясться в истинности своей клятвы ни на одной из клятвopриемных книг человечества. Клятвopриемщик никак этого понять не мог и предлагал для верности пригласить, по желанию, или раввина, или муэдзина, или священника. "Так какая же она, ваша совесть?" — спрашивал клятвopриемщик. "Своя", — отвечал Револьт. "Но у нас к настоящему моменту в распоряжении только три святых книги со своей совестью, может быть, вы можете поклясться на какой-нибудь четвертой?" Так как под четвертой книгой Револьт понимал уголовный кодекс, клятвopриемщику пришлось объяснить, что в этой местности Религия не отделена от Государства, и поэтому не бывает четвертой книги. Револьтова клятва так и не была заверена, и на всю жизнь он перестал быть новоприбывшим.

Револьтонианская позиция не допускала подобного положения вне закона, и Револьт обратился в министерство внутренних дел с требованием вернуть ему советский паспорт, с которым он и въехал в эту страну без четвертой книги. Мотивировал он свое требование тем, что документ новоприбывшего был выдан взамен советского паспорта, и, поскольку не отыскалось ни одной законодательной процедуры для возвращения утерянного документа, логично ему носить в

нагрудном кармане то, что было удостоверением его личности до получения утерянного документа. В министерстве иностранных дел его долго убеждали, что советского гражданства он давно лишен секретным постановлением Верховного совета СССР. Револют, однако, парировал этот аргумент тем доводом, что мол, если даже срок действия документа и прекращен решением советского органа, сам документ свидетельствует о том, что он, Револют, удостоверился в прошлом как Револют и, следовательно, таковым может идентифицироваться и в будущем, согласно этому советскому паспорту, даже если этот документ и потерял силу как свидетельство гражданской принадлежности. С ним не стали спорить, и паспорт вернули. Не с этого ли все началось? В поисках утраченной четвертой книги. Потом еще была потеряна записная книжка с московскими адресами и телефонами: ее подарил коллега по кафедре логики, он позже узнал, кстати, что его арестовали и дальнейшая его судьба неизвестна (он еще тогда удивился: был такой строгий неучастник, такой диссертант и многодум — и вдруг впрягся в ту же телегу, вдруг выбежал на площадь и потом плохо вел себя на суде, отказываясь от показаний во время следствия).

* * *

И вдруг все это стало выстраиваться в железную цепочку, и в ней невозможно было разобраться без четвертой книги: этот проклятый автобус, лязгнувший дверью, увез с собой уголовно-процессуальный кодекс, и Револют стоял теперь в облаке пыли, глядя вслед удаляющемуся грохоту чужой жизни.

"Не принимаем мы с тобой, Каштанка, следствие за причину, а улики за преступление? Тетушка скончалась до того, как порвалась подошва. Но нельзя забывать статьи об умышленности преступления. И кто знает, ведь как раз неделю назад, в тот момент, когда она ударялась головой об лед, я, помню, подумал, что надо выбросить эти туфли. Они раздражающе блестящие. И потом от них на большом пальце волдырь. И еще, помню, ругнул тетку Блюму за ее подарочек. Когда она ударялась головой об лед".

Но, может быть, он путает следствие с причиной: может, ее смерть была как раз началом избавления от этих проклятых туфель? а не наоборот? Но значит, он ее все-таки своим страданием заставил принести себя в жертву, чтобы облегчить свою участь? И что тогда с Тимуром, он же выкинул его часы "Победа", тоже ведь единственная о нем память. Но с часами никакой умышленности не было. Загорая на берегу Мертвого моря, он оставил их на камне, и их затопило приливом. Потом пришлось высушивать их на песке. Нас было много на челне. А когда вернулись на автобусе в Иерусалим, под стеклом были замутненные пятнышки на циферблате. А потом они стали ржаветь. И часы "Победа" встали. Морская соль выела начало клейма, и от "победы" осталось слово "беда" на циферблате. Конечно, неприятные были часы марки "Победа", с желтоватым циферблатом, и вообще их тиканье напоминало о победе марксизма. И о том, что кто-то будет жить при коммунизме. Есть время советское и антисоветское, и еще время справа налево, и у каждого времени своя часовая мастерская, и сидят свои часовщики с телескопом в глазу и следят, идешь ли ты в ногу с их временем. Идешь ли назад к победе рабовладельческого строя, или вперед к поражению коммунизма, или обходишь эти победы справа налево? И часовщик с телескопом в глазу сравнил советское время с антисоветским и выключил сердце Тимура.

"А вдруг у них есть целый штат часовщиков-сомнамбул с телескопом в голове, и они улавливают мое враждебное намерение: "на кой черт он сунул мне в дорогу то-то и то-то", и это намерение они улавливают в телескоп, а потом направляют этот усиленный луч в сердца моих близких, и они умирают?" Так начинался сдвиг в голове. За окном стал стучать отбойный молоток, и в лицо ударил луч прожектора: это началась ночная смена на стройке за окном, на далеком расстоянии, в пустыне. Вокруг не прекращалась стройка в надежде, что кто-то увидит эту стройку издали и поверит, что стройка идет только для того, чтобы ты услышал звук стройки и пришел и присоединился к этому стуку и его усилил. Ты везде подозревал навязанную сверху волю. Здесь происходило новое заморачивание соучастием. Он ведь однажды ушел

от одного соучастия, вышел сухим из воды, ушел от собственной судьбы, от которой несет судом, на котором произносятся слова, в которые прокурор и обвиняемый вносят совершенно разный смысл, но оба не отделяют слова от дела, мысль от поступка, преступления от наказания, жизнь от смерти, ложь от правды, бога от черта, бузину от дядьки, огород от Киева до такой степени, что когда Пушкина за слова сослали в Киев, он сказал: "Язык до Киева доведет". Он ведь однажды ушел от такой диалектики, при которой ты превращаешься в крысу, если корабль тонет, а твоё кваканье свидетельствует лишь о том, что болото прогнило. Он ведь ушел от намерений, которым приписывается антигосударственное преступление, и вдруг, когда улики этого соучастия уже стерлись в памяти и жизнь превратилась в королевское бонмо "Государство — это Я", ему вдруг стали приписывать преступные намерения против его же близких. Только потому, что каждый человек, оставшийся там стал отождествляться со всей Россией. Стучало ли сердце в грудной клетке или отбойный молоток в пустыне за окном?

"Да какие намерения, какие намерения, чего они там стрекочут?" — вымерял Револют прогулочную линию от комнаты до двери. Он долго пытался вспомнить то, что всегда хотел бы забыть, и наконец вспомнил. Когда они с Тимуром стояли на балконе: Револют и Тимур, а под ними весь Советский Союз. Это было прощальное стояние на балконе восьмого этажа. В те прощальные вечера разговоры на балконе почему-то не учитывались. Каждый помнил свои разговоры в ванной, где запирались, чтобы обсудить будущую петицию или прошедший допрос; разговоры в кухне, где обсуждалось, почему Петя бросил Машу; разговор в большой комнате о том, что происходит в голове у Политбюро, если голова у Политбюро есть. Но разговоры на балконе сознательно забывались. Он был высоким, этот балкон, и разговор был высоким, а память помнит смешное, а не высокое, если живешь все время по верхам. На балконе не разговаривают, глядя друг другу в глаза или избегая взгляда собеседника. На балконе выискивают истину, глядя в зажженные глаза далеких окон; это не разговор, а двойной монолог, своя исповедь с расчетом, что ее

услышат не только тучи над городом и крепость на болоте и почетный снег у кочующих стен. Ты исповедуешься с расчетом на ответную исповедь, на то, что подслушают твоё намерение, и, сделав вид, что оно, намерение, не твоё, а его, твой собеседник скажет то, что боялся сказать самому себе.

"Моя цивилизация держалась на том, что Советская власть спустилась с другой планеты и с ней надо бороться, не считая сломанных костей и пораненных ногтей. Мы были крестоносцами земной свободы. Но когда выяснилось, что если написать "Луна", то выйдет все равно "Китай", нужно уходить. Нужно уходить от собственной судьбы, которую тебе здесь уготовили: чтобы твоё жизнь не превратилась в каламбуры шестидесятых годов", — сказал Револют и стрельнул окурком в темноту, где новостройки горели мартеновскими печами. Окурочек летел вниз, плавно завихряясь на резких кругах ветра мартновской оттепели. За спиной, за дверьми балкона кричал чей-то пьяный женский комсомольский голос: "В России нет свободы личности!" — "А у вас, у вас лично она есть, свобода личности?" — "Я же вам сказала: нету ее в России!" — "Так у вас лично ее нет?" — "Нет!" — "Теперь вы понимаете, почему ее нет в России?" И потом солидные, хрипловатые мужские голоса из другого угла квартиры, может быть, из окошка ванной, которое тоже выходило на балкон: "Ты напрасно так спешишь за Револютом. С нового года денег за отказ от гражданства брать не будут. Надо будет в зале заседаний Политбюро сделать двойное сальто вперед, и тогда бесплатно отпускают." — "Нет не так: надо будет сделать сальто вперед, а потом двойное сальто назад." — "Но Ленин учил нас делать два шага назад, один шаг вперед". Или просто прыжок с балкона. Балкон — это площадка на краю. Револют поехал от темного холодка, пробежавшего по спине, и хотел уже было сделать шаг назад и разогнать всех этих единомышленников за спиной. Шаг назад, ногой шевельнуть балконную дверь, и ты снова в этой диалектике. В этой самой свободной на свете тюрьме. И снова будет составляться длинная петиция в знак протеста против того железного исторического процесса, который, если в него поверить, создает столько замечательных сочинений в знак протеста. Но однажды поверив в гениальность

его линии, револьтонизированный свидетель не мог не уйти от него, хлопнув дверью. Только зачем так сложно и официально запутанно? Когда можно взять и прыгнуть с балкона? Ведь собственно этим своим отъездом он совершал самоубийство с точки зрения той жизни, чтобы проверить существование загробной жизни: на том другом свете. Не проще ли было, оперевшись о плечо друга, перемахнуть решетку балкона и убедиться в том, что в загробной жизни тоже существует паспортная система? И тут у него мелькнула та мысль, которую он сразу постарался забыть: что все шло к этому разговору на балконе, что ради этого самого последнего разговора все и навёрчивалось. И тут Тимур сказал: "Ты ведь не веришь, что все кончилось. Я в это не верю. Не верю в то, что ты в это можешь поверить. И если я и борюсь с чем-то, то с этой твоей душевной непробиваемостью человека, знающего всю поднаготную. А ведь разоблачать-то некого". Это было еще одним укором и ударом ниже пояса: это выбивало табуретку из-под ног. Потому что получалось, что всю жизнь происходила сплошная револьтонизация действительности, когда сама жизнь была лишь в ожидании очередного разговора на балконе. О котором Револьт забывал, все дальше и дальше револьтонируя действительность: своей демонстрацией в знак протеста или же своим отъездом. Револьт поглядел тогда на забравшего голову в плечи Тимура и понял; понял, что тот никогда не поверит ему и навсегда останется вот так вот покуривать под ночными тучами над пропастью с шумным разговором за стеклянными дверями и что револьтовы прыжки имеют смысл только до тех пор, пока Тимур стоит молча на балконе, и все это будет длиться до тех пор, пока они не прыгнут вместе. Или легко толкнуть плечом, подхватив за ноги, и не ты, а он полетит проверять существование загробной жизни, и не было этого разговора, а только сплошная историческая необходимость, против которой надо и дальше будет протестовать и идти, как муравей на гусеницы танка: жить не по лжи, жить не как все. И он и уезжал, чтобы жить не по лжи и быть не как все: задыхаясь от удушья на партсобраниях или от хваткого ветра площадей в знак протеста. Как легко было бы скинуть одного человека с балкона, и жизнь

снова вернулась бы к своему прекрасному непримиримому противоречию. И в этот момент Тимур повернулся к нему и сказал: "Хочешь, я вместо тебя прыгну?"

* * *

Он выбросил часы с маркой "...беда", когда они перестали тикать; выбросил из окошка, стараясь попасть в мусорный бак на колесиках внизу. Они звякнули, и бак громыхнул, он попал тогда точно. Теперь он плакал, кусая губы, вертя в руках башмак с дырой на подошве с маркой "Боль...", и слезы капали сквозь дырку. Он стал задыхаться, чтобы не начать кричать, задыхаться, хрипя, как тетка Блюма, когда у нее был приступ астмы. Она тогда лежала на подушке, с испариной на лбу и желтым лицом, кадык ее поднимался и опадал, как будто там ворочалась мышь, а нос был задран, и маленький Револьт с ужасом глядел на ее ноздри, откуда лезли черные волоски. Она сжимала жилистой рукой его руку и, облизывая пересохшие от измученного дыхания губы, просила его сбегать в ночную аптеку за кислородной подушкой. Ему было жутко бежать в эту ночную аптеку за рынком, где дядька с такими же волосатыми ноздрями щипал его за щеку и говорил безобразно и картаво, ломая речь, и Револьт не понимал, что он говорит, но кивал головой и улыбался, а потом, подхватив подушку под руку, старался побыстрее захлопнуть дверь этого врача-вредителя. Потому что в школе было давно известно, что жена этого аптекаря оказалась народной врагиней и врачом-вредителем, и, значит, этого изготовителя ядов тоже скоро заберут куда надо, чтобы стало жить еще лучше, еще веселее. И все спрашивали про тетку: она ведь тоже врач, не так ли? а значит, скрытый вредитель, не так ли? Бежать с подушкой через рынок от фонаря к фонарю, обгоняя собственную тень, было страшно. Подушка была черная, до предела надутая и колола острыми углами: она была огромная и часто вылетала из рук и, упав, лежала так, как будто сейчас подпрыгнет и вцепится тебе в горло черным крантиком из жесткой резины, от которого отходил черный червяк трубки с раструбом, чтобы прижимать этот раструб к губам и дышать из этой черной подушки отраву. Тетка хвата-

ла эту подушку и присасывалась к раструбу и пальцем показывала: "Крантик! крантик открой!" Револют открывал крантик и глядел, как в свете зеленой лампы начинал двигаться вверх и вниз теткин кадык, когда она всасывала жадно отраву из подушки, а потом, напившись, отирала лоб рукой и улыбалась. Подушка валилась на пол сморщенная, как будто из нее высосали кровь, черная и с пятнами потных рук, и тетя благодарно смотрела на Революта и тянулась к нему повлажневшим ртом, чтобы поцеловать. Револют выворачивался от тяжелого запаха лекарств и пота, но она притягивала его за шею и, когда дотрагивалась губами до лба, он бежал в ванную и долго отмывал лоб, потому что ему казалось, что она его заразила высосанным из подушки "сжатым кислородом", непонятным и кислым. И он сжимал пальцы в кулаки и давал себе клятву в следующий раз, пробегая от фонаря к фонарю, открыть крантик и выпустить весь яд, которым она, напивавшись, наверное отравляла советских трудящихся в поликлинике. Он уже давно подозревал, что тетка врач-вредитель, и по ночам не спал, понимая, что сам тоже обречен: ведь это он и никто другой находился с ней в сообщничестве, носил эти черные подушки с крантиками.

Он уже давно подозревал, что тетка скрывает от него разные тайны, например, куда делись родители? И давно стал отмечать, что тетка что-то делает с книгами: год от года она перебирала библиотеку, усевшись ночью с ножницами в руках. Однажды он вышел из своей спальни, где они спали с Тимуром "валетом", и увидел, как тетка сидит на кровати с ножницами в руках и что-то вырезает из огромных одинаковых томов. Наутро, вернувшись из школы, он, встав на табурет, достал эти замусоленные красные книги и, раскрыв их, увидел, что на титульных листах в одном и том же месте прорезаны квадраты. Красивыми буквами на титульном листе сияли громкие имена, а потом вдруг вырезанный квадрат, через который проглядывал чей-то нос на фотографии с другой страницы. То же самое происходило и с фотографиями в толстых красивых изданиях: среди улыбающихся усатых и бородатых людей в кепках и шляпах от одной кепки или шляпы почему-

то оставался лишь ус или недорезанное плечо. Дырок в этих книгах становилось все больше с каждым годом, исчезали целые страницы, и только всегда оставались лица Ленина и Сталина, Маркса и Энгельса. Револют выследил, что все эти вырезанные квадратики тетка каждый раз собирает в специальный тазик, и однажды подглядел, как она поднесла спичку к груде этих вырезок, и они запылали, освещая ее спутанные после сна седые волосы; а морщины у губ, освещенные пламенем, меняли лицо так, как будто она злорадно улыбалась. У Революта в тот момент не было никаких сомнений, что она злая колдунья; тем более, он заметил: как только тетка вырывала портрет великого человека из отрывного календаря — от Бухарина до Троцкого — в газете сразу же сообщали о том, что они разоблачены, как враги народа, и Револют понимал: это дело тетких рук, ее колдовства над тазиком в кухне.

Когда они переехали в Москву и тетка стала его провожать и встречать из школы, он каждый раз пытался убежать от нее и потеряться. Но она не выпускала его руку из своей и только однажды, когда она зашла в булочную, Револют успел спрятаться за угол дома. Выйдя из булочной, тетка стала осматриваться по сторонам, искала его глазами. Но он хорошо укрылся за водосточной трубой. Он следил в щель между водосточной трубой и стеной, как тетка мечется у входа в булочную, хватая за руки прохожих, а те, не останавливаясь, идут дальше, надвинув шапки-ушанки на глаза. "Волик! Волик!" — кричала тетка. Она бы его никогда не нашла, но он, дурак, неосторожно прикоснулся губами к водосточной трубе, а мороз был жуткий, и губы прилипли, он дернулся, и отодрался от трубы с кровью и заорал благим матом. "Волик! Волик!" — вскрикнула тетка и бросилась к нему, но поскользнулась на раскатанном прибитом ногами снегу, и ее ноги смешно вздернулись. Револют хохотал с разодранной губой и с замерзающими на щеках слезами. Но ведь он был несовершеннолетний тогда, он не отвечал за свое преступление или хотя бы за преступное намерение, а сейчас должен действовать срок давности, дети не отвечают за своих отцов, конечно, но отвечает ли человек за свое детство?

* * *

Прожектор со стройки лизнул револьтово лицо, потом хватил холмистый горизонт, и крестовина у стены встала лагерными нарами, а прожектор лагерной вышкой. Я помню этот момент наступления безумия, когда время сдвигается и превращает забытые разговоры в разговор с самим собой в данную секунду, сжатую до вечности. Когда все становится сегодняшним событием. Как будто вечность обретается вместе со сдвигом ума: как в подвернутых линзах бинокля наоборот видишь самого себя, который затерялся в закоулках собственной памяти, но только кто-то так подыграл все обстоятельства, что все повторилось спасением, ты прыгнул с балкона, и вдруг обнаруживаешь, что самоубийства не случилось, а тебя ветром занесло на балкон соседнего подъезда. И если отъезд — это смерть, то небесный часовщик так подвернул время в обратную сторону, что ты глядишь из прошлого на самого себя мертвого в будущем.

"Но времени тоже нельзя доверять: оно ведь разное по ту и по эту сторону железного занавеса. Для меня события там происходят только потому, что я узнал их из письма: событие наступает только тогда, когда я о нем прочел. Порвался тужель, я вскрыл письмо, и тут-то и погибла тетя Блюма. Ведь письмо идет неделю, и о порче тужель тетка узнала бы только через неделю и поэтому умерла на неделю раньше, чтобы все совпало! Хотя я ведь основываю все на почтовых данных, на датах с почтового штемпеля. А разве можно доверять этим почтовым штемпелям? Разве можно доверять этим почтмейстерам? Неизвестно, когда и где этот штемпель поставлен! Они делают что хотят в этих черных кабинетах советских главпочтамтов. Что хотят, то и делают. У них для обмана жуткая терминология: гашение, рекламация, вкладыш, клапан. И ставят незаметно свой бесцветный треугольник цензора или двойной шестигранник. А что за этим кроется? Они все читают и заранее, раньше тебя во всяком случае, обо всем знают и догадываются. Раньше они держали под паром, чтобы вскрыть. Но теперь, если даже заклеишь клеем "суперцемент", у них есть такая трубочка с линзой, как гинеко-

логический цистоскоп, и можно прочесть все письмо через дырочку, не вскрывая конверта. Может, это письмо и не было написано Наум Александровичем! Или оно было написано уже после того, как у меня появилась дыра на подошве, а пришло только сейчас. Оно было написано в будущем, а потому его долго держали почтовые советские цензоры, вот оно так и получилось, что смерть наступила после дырки в подошве. А на самом деле, как только порвалась тужель, тетка сразу скончалась, но именно после того, как порвалась тужель, после, а не до. И Наум Александрович сразу написал извещение, но в почтовом ведомстве цензоры решили запутать меня, вскрыли письмо и подделали дату, как будто тетка скончалась до этого. А потом сбросили это письмо мне в почтовый ящик со спутника, они все сейчас могут, чтобы я подумал, что письмо шло неделю. Но мне голову не заморочишь! Я их разоблачу", — шептал Револьт, раздирая заново и беспощадно на куски конверт с голубо-красным околышком в поисках магического штемпеля. И тут на пол скользнула газетная вырезка, и Каштанка, нюхнув ее, и, видимо, почуяв давно забытую советскую типографскую краску, попятилась, поджав хвост, и зарычала.

"Управление Комитета государственной безопасности г. Москвы при Совете министров СССР с прискорбием сообщает о смерти старшего следователя УКГБ, полковника СНАРФА Т.А. В ходе усиливающейся волны посягательств империалистических разведок на рубежи нашей родины", — читал Револьт, но дальше можно было и не читать. Когда этот Снарф Тихон Анатольевич выбивал ему зубы в связи с разоблачением агента империалистических держав Анатоля Франсуа Тюбо, по кличке Франс, полковник этот был еще младшим лейтенантом, и, значит, за эти годы реабилитаций он далеко продвинулся вверх по лестнице, ведущей в подвалы КГБ. И вот, вчитываясь в этот очередной некролог, Револьт захохотал: надо было пройти тюрьму и психбольницу, эмигрировать в страну с языком справа налево, чтобы догадаться, почему он в конце концов выдал в руки органов безопасности именно Анатоля Франса. Просто потому, что, читая фамилию следователя Снарф справа налево на каждом прото-

коле допроса, подсознательно выходил из него неизбежный Франс! снарф! Обратная сторона все той же медали: доносить следователю на него же самого. "Это газетное сообщение просила передать Вам Блюма Карловна перед своей кончиной: вместо завещания, так и сказала. Не Ваш Наум Александрович", — расплылась на полях газетной вырезки авторучка этого вестника дурных новостей. И уже задействованный маниакальной логической цепочкой мозг Революта попытался соединить упущенное звено со смертью следователя, и снова он увидел себя на дороге, где валялись развороченные томики великого гуманиста, позвавшего к себе перед смертью не священника, а секретаря коммунистической партии, для которого даже гильотина казалась привилегией для аристократов и который верил, что Россия — это "страна, где совершается то невозможное, которое завершат большевики".

Он облизнул губы и почувствовал во рту вкус крови и потом зубную крошку на утро в камере. Он провел языком во рту, и язык лизнул по вставным железкам. Вставные зубы! Вставная челюсть, которой он еще недавно так гордился, была последним звеном в его тюремной цепи: и никто не узнает, где могила моя! И не поможет справка о реабилитации. Не стало никого на свете; были только выбитые зубы как свидетельство того, что у него была другая жизнь, и теперь эти зубы подменили; был свидетель в лице следователя, но он исчез с лица земли одновременно со вставными челюстями. Что он болтал, этот дантист, поедая жареные сердца? Этот — вставляющий искусственные зубы в чужие рты? "Горжусь, что помог восстановить ваше полное страданий прошлое в виде выбитых зубов". И еще передавал привет Анатолю Франсу, и еще просил напомнить о себе тете Блюме, про которую он врал, что она спасла его от флегмоны во время дела врачей. Но тетка никогда не работала зубным врачом, она всегда работала ортопедом, она выправляла кости, а не зубы, она недаром боролась с плоскостопием, а не с кривошеем. Прикрылся тетушкой, чтобы оправдать бесплатные вставные зубы. Этот проклятый зубодер. И ведь исчез он вдруг, скрылся в Америке, в Новом Свете; в Америку не ходят поезда, никак не добраться туда поездом, туда летят,

туда можно только прилететь, как на тот свет, Америка — это загробная жизнь, и из этой загробной жизни и появился этот зубодер: сделал свое дело и улетел на тот свет. Это была железно спланированная в верхах провокация: занимать его дешевыми новыми зубами, чтобы изолировать его, — вот именно, посадить его в изолятор, отделенный от всех, с кем он мог еще спорить и разговаривать. То есть именно этого он, Револют, и хотел, чтобы не осталось ни одной улики прошлого, чтобы дали наконец покой и волю. Но какой ценой? Именно к таким и приходит дантист Зевулон и, потирая руки, говорит: "Ца-ца-ца, сердце не гонит, почки не фильтруют, печень не вырабатывает, надо организм очистить от накопившихся ядов, а причина какая: зубки, зубы нужны крепкие для пищеварения". Они всегда угадывают, что твоей душе угодно, они всегда готовы оказать эту услугу, а за какой ценой разве дело? сочтемся славою, ведь мы свои же люди: тетка мне, я тебе! я вам племянник, вы же все мне — дяди! Всю вину он берет на себя, а кровью испачкаетесь вы. У вас все лицо будет забрызгано кровью после такой операции. Они только ждут того, чтобы у тебя появилось такое намерение, к некоему обновлению и к новой жизни, которой мешают старые друзья и веселые соседи, и они это намерение быстро претворяют в жизнь. Там, за железным занавесом, они подглядывают за ним в почтовый цистоскоп, читают его тайные мысли и подсылают доктора Зевулону. Автобус прошлой жизни лязгнул дверьми и проглотил его Священное писание, его третий завет; завет уголовных законов прошлой жизни умыкнули прямо из рук: не значит ли это, что оставленная Револютом жизнь за кордоном лишилась своего уголовно-процессуального прошлого? Или, наоборот, стала диктовать свои статьи Революту на чужой территории? Если. Если только вся логика была верна, а для этого надо было проверить одно недостающее звено в цепи: последствия того факта, что старые законы уехали в потрепанной дорожной сумке с надписью: "Аэрофлот". Не дай мне бог сойти с ума: уж лучше посох и СУМА И ЧЕТВЕРТАЯ КНИГА СОВЕСТИ.

Итак, во всей этой выстроенной стройным безумием цепочке совпадений, отсутствовало одно звено: судьба Неты в

связи с утерянной аэрофлотской сумой. Револют бросился по коридорчику к телефону срочно звонить в Париж, сопоставлять и выяснять, но остановился посреди комнаты, схватившись рукой за стену: телефон Неты вдруг выскочил из головы. Точнее, ее парижский телефон выскочил из головы, а вместо этого накручивались перед глазами цифры московского, уже никому не нужного, несуществующего номера и, казалось, не давали памяти пробиться к цифрам парижского номера. Он бросился назад — достать телефонную книжку — и вспомнил, что телефонная книжка тоже утеряна. Он стал кружить по комнате, пытаясь восстановить телефонное сочетание троек и нулей, как всегда увязывая эти сочетания то ли с рифмовкой, то ли с некой круглой суммой, которая получится, если сложить две крайние цифры, а потом вычесть две средние, то получится — что? или, нет, надо по рифмовке, что-то вроде: "а-вэ-восемь-авве, отче!" а дальше что? — тут Револют, грязно выругавшись (его припадочные приступы грубости), оступившись, наступил на хвост Каштанке. Та взвыла и, заскулив, попятилась к двери. Она не узнавала хозяина.

"Что же ты под ногами путаешься? — гаркнул Револют, а потом, спохватившись, сбавил тон.— Я же не виноват. Мне надо в район Эйфелевой башни, дружок: проверить одно пренеприятное умозаключение. А ты путаешься под ногами. Нам придется на время расстаться: мне необходимо в Париж, а тебе придется в Синай, к дрессировщику. Меня долг зовет. Перезимуешь?" И Револют стал набирать телефонный номер Матраскиных, пока Каштанка, перебравшаяся к окну, выла в прожектор, освещавший далекую стройку в пустыне.

"Он без ног, но дрессировщик выдающийся", — тараторил Матраскин, выдавая по телефону адрес ветеринара из Синайской пустыни.

"Как это — безногий? — волновался Револют за судьбу Каштанки.— Как же он без ног дрессирует?"

"А как без рук можно дрессировать? — иронизировал Матраскин. — Вам бы лишь придраться. Все вам не так. У вас что-то за ночь нервы разыгрались. Когда я сказал, что дрессировщик безрукий, вы это приняли как нечто само собой разу-

меющееся. А когда выяснилось, что он без ног, вы уже отказываетесь доверять человеку. Вы скептик. Может, он вообще глазами дрессирует. Кто это, кстати, загнипотизировал ваш язык?"

"Язык?! — переспросил Револют. — У меня язык пока на месте".

"Ну да. Но у вас появился иностранный акцент. Вы букву "тэ" произносите по-английски. Я имею в виду: шепелявите по-русски".

"Это не язык. Это новые искусственные зубы. Вставные челюсти. Я к ним еще не привык", — проболтался Револют, не понимая, что из-его искусственных зубов вырастет новая зубастая сплетня. И мне ничего не остается, как опровергать эту сплетню: с иностранным акцентом.

Тетрадь № 6

Дрессировщик оказался с руками, но на костылях и разъезжал в кресле на колесиках по Синайской пустыне: последняя для Революта перевалочная станция на пути к страшной мести. С этого дня Револют твердо знал, что ему нужно, и каждого встречного видел в первый и последний раз. Он расставался со своим единственным и последним серьезным собеседником: Каштанкой. Бедная Каштанка! Она сидела в корзине, накрытая тряпкой, и даже перестала скулить; только иногда, высунув морду из-под тряпки, глядела на Революта взглядом авраамовой жертвы. Накрыть ее тряпкой было указанием ветеринара и дрессировщика по телефону: когда животное не видит поворотов и спусков, сказал он, "колдоебин и выебан", ему легче представить себе, что никуда не едет, а сидит себе на кухне. Но Каштанку тошнило и тошнило, как отметил Револют, именно тогда, когда они проезжали мимо очередного святого места: каждое святое место находится или на повороте, или на подъеме. Револют лишь прикрывал тряпкой каждый просительный собачий взгляд. Он вообще переменялся за эту ночь: как-то высох, и небритая щетина на щеках оказалась седой и старила его. Осознав за ночь свой страшный дар, он сейчас старался ни о ком и

ни о чем не думать, а глядеть в окно, развалившись на широком кожаном сиденье "мерседеса". Оно было гигантским, это такси, восьмиместным нездешним аппаратом, с дизельным урчанием мчавшимся по пейзажу, не слыхавшему даже велосипедного звонка последние несколько тысячелетий. Сначала промелькнули улики переселения народов: посреди картофельного поля росла елка, а посреди апельсинового сада возвышалась береза, которую привила здесь мичуринская ностальгия. Но потом исчезли последние напоминания о ностальгии. Где тут рябина, а где дуб?

Машина неслась по завоеванным территориям: по исконно завоеванным территориям слов из описания пейзажа, вычитанного из тысячелетней книги, которую читают слишком долго, и она перестала быть книгой, потому что разошлась на цитаты, без которых не вспомнишь ни одного дня своей жизни, даже если в эти цитаты не веришь, не веришь ни в один свой день. Но потом кончились и эти слова, и остались только скалы, и эти скалы не стояли на месте: они менялись при каждом брошенном взгляде. И вжатый в огромное сиденье огромного черного мерседеса, нереального среди нереального пейзажа, и, глядя в затылок насвистывающему водителю, поглядывающему на дорожные знаки, заброшенные как будто с другой планеты, Револют подумал, что пустыня — это не песок и камни, а меняющаяся пустота, которую ты можешь заполнить своим зрением, и что однажды, проведя здесь сорок лет, уже нельзя смириться ни с какой жизнью, потому что нормальная жизнь будет подавлять глаз своей данностью и закрепленностью — после этого, подчиненного тебе миража пустыни. Дорога пошла резко вниз, огибая петлей пропасть, бывший кратер, а может, место падения гигантского метеорита. Края пропасти запеклись на солнце, и она не темнела глубиной: впадина высвечивалась одинаково, как будто была покрыта увеличительным стеклом, и можно было шагнуть в нее, ее не заметив. Они выскочили на боковую шоссе, и замелькали пыльные кусты неизвестного происхождения. И вот за облезлым эвкалиптом заиграли на солнце сияющие пенопластом домики, как будто из картона, готовые вспыхнуть от прикосновения солнечного луча, как спичечный ко-

робок. Когда машина, обдав себя пылью, затормозила, из ближнего спичечного коробка выкатилось нечто двурукое на костылях — или просто рябило в глазах от слепящего солнца. Существо в два прыжка оказалось у машины: к автомобильному стеклу приблизилась и поворачивалась в разные стороны пара черных глаз без зрачков, и расплющился нос. Потом, чудом удерживая костыли, безногий рванул дверцу машины, и Револют вместе с корзиной выпал наружу, как рыба из аквариума, которую только что разглядывали. Безногий, широко улыбаясь испорченными зубами, поглядывал на него пулеметами глаз. Плечи у него были настолько мощные, что, казалось, держится он не на костылях, а на двух надутых воздушных шарах по бокам стриженной головы.

"А псина где? — захрипел он голосом чревовещателя. —

Мы ее тут быстро абсорбируем. Кружку дадим на цепочке, миску с ложкой. Пластмассовые, чтоб не вздумала предпринять попытку самоубийства. Быстро привыкнет. Животное в цирке быстро обвыкает. Я-то в цирке родился, в цирке и умру, опилки-навоз. Цирк! Докатились! Я, как в тюрьму попал, в камеру вошел, опилки-навоз, сразу понял: цирк! И здесь тоже опилки на арене из молока с медом. А то бы не выжил. Где ж ты, милый, облевался?" И Револют машинально провел у себя по губам тыльной стороной ладони, но безногий уже подхватил корзину и нес Каштанку к домику из пенопласта, передвигая костыли одними плечами.

"Каштанкой, значит, звать? В Тетку переименуем, будешь у нас Теткой. Что же ты, Тетка, так облевалась? — топал он к домику и рассуждал не оборачиваясь. — Вот так на моих глазах Бухарин облевался, когда парашу выносил. Я ведь с ним сидел. Я со всеми сидел. То да се, первый классик марксизма-ленинизма, а потом, как вертухаи устроили ему на каждом шмоне штейн-трапе: а ну, классик, жопу оголи, а ну ноги раздвинь, он сразу перестал скандалить. У меня много таких воспоминаний, а все кричат: "Солженицын, Солженицын!" Меня бы спросили. А он ведь что: все узлы вяжет? Узел первый с барахлом, узел второй, опилки-навоз. Я так и сказал: вы мне в дом этого барахла больше не носите!" — и он рванул дверь домика, и сразу же из глубины раздался визгливый крик:

— Аз воздам! — и снова: — Мне отмщение и аз воздам!
 "Прошу! — сказал безногий, и его костыль взлетел указательно к двери. — А я за вами: после тюрьмы не люблю, чтоб за спиной вертухаи топали".

Сквозь металлические жалюзи, похожие на стиральные доски, пробивались полоски выстиранного голубого неба, но сразу пылились в полутьме, смешиваясь с воздухом, пропитанным запахом опилок и навоза. В углах поблескивали клетки, раздавалось урчание, и надо было продвигаться осторожно, чтобы не попасть в пасть к очередному дрессированному крокодилу.

"Аз воздам! аз воздам!" снова прорезался гортанный и визгливый крик. "Ну поприветствовал и хватит", — сказал безногий и, подцепив костылем тряпку, набросил ее на клетку, в которой, как оказалось, кричал попугай. "Он у меня из произведения Льва Толстого "Анна Каренина" выучил один эпиграф. Из этого произведения я один только эпиграф уважаю, а дальше наши дороги расходятся: Толстой к Новому завету устремлен, а мы прежнего держимся, эпиграфа, так сказать. Читали Библию? Замечательная книга, а? Я спрашиваю, великая книга или не великая? Или отмалчиваться будем?"

"Я стал сомневаться в анонимных протоколах, не подписанных обвиняемым, — сказал Револьт и подумал, глядя на дрессировщика: — Сейчас убьет".

"Избегаете прямых ответов, опилки-навоз, уклоняетесь, штейн-трапе! Так вас Матраскин отрекомендовал? А как фамилия-то? По какому делу сидел? Я, правда, этих новых штейн-трапе с законодательством не понимаю, но слышал в соседнем лагере про одного такого, звали тоже вроде Револьта, по-революционному: все к закону жался. Когда мент отсылал его к нормам положенности, он подавал иск. Если иск конфисковался, он тут же письмо прокурору. А письмо прокурору и вскрывать-то не положено по нормам положенности, не то что конфисковать! Так иск попадает в суд, потому что был и исходный номер и входящий, а жалобу нельзя рассмотреть без определения суда. А как только есть определение суда, сразу можно кассационную жалобу подавать!

А тогда, как ни крути, заведено судебное дело с номером, и, как на волю выйдешь, можно дело затребовать, через прокурорский надзор и сделать его общественно-гражданским, а не внутрилагерным, опилки-навоз! Выноси сор из барака, такая была цирковая программа, а? Как же это мы раньше не встретились? Револьт! Так это другой разговор, я-то думал ты из этих всяких математиков, опилки-навоз! — и он хлопнул Револьта по плечу. — Теперь, значит, в Иерусалиме? Я тоже. Ну не прямо в Иерусалим, но ведь земля тут вся святая, каждому дому — свою Стену плача! Много всякого дерьма в руководстве, но я так считаю: может, там кто и опилки с навозом, но на них миссия избранного народа, штейн-трапе!" И он развернулся, и через минуту бутылка и помидор — и то и другое потрескавшиеся и со щербинками — возникли на столе. Стульями служили ящики из-под консервов. "За закуску прошу пардону, все отдаю животным. Первое дело поддать овса коню, правильно я говорю? Я вот тут, видишь, собачек тренирую для пограничной службы, аппелистость у них развиваю, чтоб рубежи нашей родины на замке были. А пусть послужат, а мы вот выпьем, моего изготовления, опилки-навоз!" И он разделил помидор. Вместо вилки была предложена иголка из-под шприца гигантских размеров, видимо, для прививки против лошадиного крупа. "А склянки-то, скляночки, ах забыл!" — вдруг всполошился безногий, уже потянувшись к лекарственной бутылке черного цвета с самогоном.

"Да ничего, может, мы так?" — нелепо заскромничал Револьт.

"Это как это — так? Только не в моем доме. У меня первое дело гости. Гостеприимство мой закон. А ну-ка вот , — и, пошуровав рядом со столом, он вытащил пробирку, подернутую следами каких-то анализов. — А я так, из горлышка. Лагерная привычка. Ну? На ковер, опилки-навоз!"

Жидкость запершила в горле, шибанула в глаза и отдалась в желудке смесью опилок и навоза, в висках потяжелело, кровь прилила к лицу, и полуослепший Револьт потянулся к своей половине помидора. Потом, как будто из бездны, на него снова уставились пулеметные глаза безногого. Эти

глаза были, как странное наказание за неизвестное преступление, за то, что он хотел избавиться от бессловесного друга.

"Ну как пошла, коверная? Ничего настоечка, а? Семейный рецепт: из опилок гоно. Мои родители, французской хоть и закваски, а как в Россию попали, сразу догадались: как гастроль кончили, сразу все опилки с арены — и самогон гнать! А здесь с опилками — туго. Это я сегодня, по случаю гостя, одно деревце на опилки изрубил. А так ведь только по благу: опилок на животных не хватает. Не растет дерево. А растет — тени не дает. Разве опилки будут качественные, если дерево тени не дает, когда мягкости нет?! Продукт должен быть не только натуральный, но и для желудка привычный, а тут огурца малосольного не достанешь, чего об опилках говорить! Не признаю я здешние их оливки и эти разные там араки. Я тут фикус посадил, чтоб тень давал. Вырос и отмахал здоровенный такой. А потом вдруг взял и засох, вот наказание, а за что? Ну, коверные, по второй? — и он помахал бутылкой по кругу, как будто приветствуя тостом невидимых своих дрессируемых подопечных и прирученных. — Пока не остыла, семейная. Ее нужно пить, как шталмейстер следующий номер в цирке объявляет: не горлом, а всем животом, прямо животом заглатывать. Да знаете ли вы, что меня в животе у кита арестовали?"

Выключился наружный свет, и Револьт почувствовал себя в этой полутьме арестованным в чреве кита. Он знал, что ему придется выслушать этот рассказ, потому что кончилось время его службы на посту вершителя своих законов, и теперь он отправился с посохом и сумой и должен выслушивать всех фальшивых пророков на своем пути. Он знал, что отправился по такой дороге, когда говоришь "пока" всему тому, во что когда-то верил, и поэтому встречаться будут именно те монстры, которых до этого удавалось избегать вопреки самому себе. Бог деменций наших и маразмов по фальшивому нас направляет следу в поисках утраченного разума. Я сейчас пытаюсь восстановить его случайные реплики не в такт, но на самом деле это была одна из тех встреч, которые запоминаются именно потому, что их не хочется помнить. Как будто подозреваешь в себе существо с ложной логикой, с неприят-

ным направлением ума и вдруг встречаешь именно это чудовище, созданное собственной самоподозрительностью: не двойника, а самопародию, все то, о чем предпочел бы умолчать. Револьт сидел, сжавшись, похожий на потрепанного ворона, шурясь на склянку с самогонной отравой из опилок. Он ждал подобного появления, если не этого дрессировщика, то очередного честного шарлатана или праведного убийцу, который будет тебе говорить: "Вспомни все то, от чего уходишь для того, чтобы именно об этом не вспоминать". Он как будто говорил: "Ты бежал как крыса с тонущего корабля, потому что знал, что корабль тонет из-за тебя; и если тебя не проглотит теперь кит, тебе никогда не увидеть родного берега; теперь ты понимаешь, что тебя отдали на прокорм рыбам"? Уходила невероятная любовь, в которую побоялся поверить, и начиналась хорошо рассчитанная месть за то, во что верить не собирался. Советскую власть я виню, и потому я на нее в обиде. Он перестал быть подследственным; а, взяв на себя роль следователя, надо было слушать и вести протокол. Сколько праведных убийц и шарлатанов честных! Где страшнее вера с ненавистью смешаны?

"В чреве кита меня арестовали, — повторил безногий, загнувшая самогон щепоткой опилок. — Не живого кита, живого бы кита я бы по правильному направлению загипнотизировал. Нет, тут не живой кит был, а чучело. Это чучело мои родители французской закваски в Россию на гастроли вывезли. Из-под самого Парижу. Они у меня хоть и французской закваски третье поколение были, но известно с какой национально-цирковой арены по происхождению. Семисвечкины — цирковая фамилия. Это псевдоним такой, штейн-трапе: чтоб, с одной стороны, про субботний семисвечник самим не забыть, а с другой стороны, огни цирка, опилки-навоз! Какой цирк был, какой цирк: шапито, а кругом парк дофина, листочки, опилки. Семисвечник сияет над шапито, а перед шапито — чучело кита, гордость семьи. Каждый вечер из чучела кита вылезали различные животные и танцевали народные танцы на задних лапках. Я сам, сопливый мальчонка, бесстрашно клал голову в пасть крокодилу — хорошая выучка на всю дальнейшую мою жизнь, опилки-навоз! Крокодил плакал от востор-

га, публика редела от возбуждения, семисвечник пылал напоминанием: вот мол вам, не отказываемся от нашего циркового прошлого. А тут в России революция. Эмансипация, штейн-трапе: эгалите, фратерните, либерте. Наслушались речей Ан.Франса. Кто был ничем, тот станет всем, опилки-навоз. И мои предки — революционной французской закваски из национальных меньшинств — решили: надо аттракцион в Россию везти. Потому что они, с одной стороны, Семисвечкины и, значит, мы вместе в бой пойдем, а с другой стороны, революция требует хлеба и зрелищ. Ну как тут не рвануть в освобожденную Россию с чучелом кита, чтоб из него вылезали различные животные и танцевали фрейлихс под звуки интернационала? Потому что под Парижем кит раскрывал пасть без всякой исторической перспективы, а там, по расчетам, станет раскрывать пасть с исторической миссией. Кто же знал, что там другая политическая арена и другой цирк и из своего чучела свои дикие животные так и прут?! и все выдрессированы по другой системе под руководством другого передового учения? и аз воздам?! С компаньоном порешили так: расходы по транспортировке кита с цирком платит он, а доходы делят фифти-фифти с возвратом дорожных расходов компаньону. Опять же ошибку допустили: когда выходишь в дорогу с фонарем идеи впереди, надо за все быть расплатишься. Потому что счета небесные нельзя с земными путать. Взяли мы с семейством шапито, свернули, завернули в него чучело кита, обезьяну, попугая посадили сверху, а крокодила на веревочке и пересекли границы страны Советов по цепочке: наш народ ведь всегда по цепочке ходит, штейн-трапе, только направление иногда путается, справа налево или слева направо, в страну советов или страну заветов. Правильно я говорю?

По первому этапу принимали нас как зарубежных товарищей по пролетарской солидарности. Вот говорят тут: почему уехали, почему приехали, а я, как смышленный тогда малец, теперь могу заявить: да жарко всегда сердцу, когда стучит в него пепел солидарных с идеей и погибших за нее, а ты на их место пришел, себя с идеей отождествил, и уже не сольный у тебя номер, а прямо под куполом всемирного неба ходишь

по веревочке, а внизу мелькают народы и государства, не замечающие, что ты над ними, а они под тобой. На первом нашем этапе гастролей, как раскинем шапито, сразу представитель первой в мире пролетарской справедливости произносил речь о солидарности, опилки-навоз. Первым делом он сам весь в коже и сапогах входил в шапито, а за ним уже тянулось передовое крестьянство из рабочих и солдаты из депутатов. Пахло опилками и навозом, аплодисмент стоял такой, что можно подумать: никуда и не уезжали, а с другой стороны, правильно сделали, что уехали. И папаша мой, поэт в душе и философ, внес в аттракцион новое понимание. Главный номер у нас какой был: из чучела кита выходил крокодил, крокодил держал в пасти наполовину заглотанного удава, из пасти удава высывалась обезьяна, а обезьяна за хвост держала попугая. Папаша научил попугая кричать: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!", и весь аттракцион, получалось, изображал империализм и его приспешников — паразитов на теле пролетариата, которого, то есть попугая, они пытаются заглотнуть, однако в своей хищнической борьбе за рынки сбыта заглатывают друг друга. То, что пролетариат изображал попугай, никто не замечал при размахе революционного энтузиазма. Все деньги с выручки уходили на совместное участие в революционных праздниках и других пролетарских датах. То есть, проще говоря, пропивали все в знак солидарности. Компаньон из-под Парижа слал встревоженные депеши насчет выручки и долга за транспортировку, опилки-навоз. Но наша семья Семисвечкиных стала склоняться к мысли, что деньги — они буржуазный предрассудок, а главное, — на какой идеологической арене цирку выступать. Но согласно марксистской диалектике возвращаться к компаньону с пустыми карманами тоже не было никакого резону, потому что долговая тюрьма, штейн-трапе, да и на обратную дорогу денег уже не было, и потому надо было дальше двигаться в глубь России после каждой революционной попойки.

Вот мы и шли все дальше вглубь, во глубину сибирских руд. И годы с нами шли, и коверные менялись, и шпрехшталмейстеры на местах, а с ними и революционные лозунги. Уже перестали выступать с приветственными речами про за-

рубежных товарищей и попутчиков пролетарского интернационализма, а наш иностранный акцент стал вызывать всеобщее бегство, да и семисвечник стали приглашивать на всякий случай, ради экономии электричества, потому что советская власть есть раскулачивание плюс электрификация всей страны (а не чуждого семисвечника), помноженная на коллективизацию, поделенную на левый уклонизм с квадратным корнем из правого оппортунизма. В результате нам на дорогах стали попадаться деревни, где люди ели друг друга и облизывались при виде обезьяны и попугая. Поначалу стали мы отмечать прибытие в каждый революционный пункт на пути к светлому будущему самогоном, сваренным из опилок. Но потом и опилки кончились. Не говоря уже про деньги на обратную дорогу в Париж из-под Уральского хребта. Труппу стало тошнить, обезьяна и другие участники аттракциона, начиная с попугая, выплевывали друг друга, встав в позицию, и, подавленные, разбрелись по клеткам. Последнее антре наступило в городе Петропавловске. В горсовете долго документы слюнявили и сравнивали носы с фото, а потом человек в кителе без погон сказал: "В нашем городе цирка быть не в состоянии". Но одно выступление, однако, разрешили: по случаю дня солидарности с голодающими народами Африки. Папаша убедил его, что животные напомнят о джунглях и силах империализма. В первый ряд посадили местное руководство, опилки-навоз, во главе с лысым в кителе. Тут и произошло это антраша. Попугай не выдержал торжественной обстановки, потому что последнюю неделю питался одним самогоном с сибирских лесозаготовок. Как только выстроились в пирамиду, попугай наш как заорет; "Сосиски сраные! Сосиски сраные!" — это он у человека в кителе перенял: тот так "социалистические страны" произносил, челюсть у него не двигалась, а может, попугай просто от голодухи про французские сосиски вспомнил, а остальное перенял.

Весь раек притих, а он не унимается, попугай: "Сосиски сраные!" долдонит, а потом вдруг как заорет: "Аз воздам!!!" И тут обезьяна — от неожиданности что ли — и проглотила оратора нашего. И пошло: удав, как почувствовал судороги в животе у обезьяны, сразу и стал ее по-настоящему заглатыв-

вать, а как дошло до пасти крокодила, тот удава и перекусил пополам; папаша бегал сначала от одного к другому, но все дрессированные оказались жмотами, кулаками и фабрикантами, только крокодил заплакал, но с удавом было кончено. Лысый в кителе — из руководства — поднялся весь красный и как заорет, животом подминает и кричит: "Вы на кого это намекаете, агенты буржуазии?! на раскулачивание намекаете? на коллективизацию? а может, того, на хлебные заготовки?!" И удавился. А вечером крокодил издох от обжорства: все у него в пузе переваривались; а мы отсидивались в туловище кита, потому что вокруг самум поднялся или дождь с градом, не помню, опилки-навоз. Сидим в чучеле и трясемся: сейчас придут. И они пришли: все слаженные такие, как ковровые. Документы стали проверять и спрашивать, как пересекли границу первого в мире пролетарского государства, чьи агенты и по чьей указке занимаетесь пропагандой, направленной на подрыв. "Ты у меня посидишь в животе у кита, цирковой артист!" — кричал их предводитель в другом кителе. "Ты у меня опилки будешь жрать!" И больше я своих родителей не видел. А маму-то, маму во сне видал, потому что в чучеле в углу забился, я там все перегородки и слепую кишку наизусть знал с детства, я и забился в закуток, мы там в прятки играли. Кругом этот сибирский самум, или как там, бушевал, хамсин, по-нашему, и я заснул.

И снится мне, что лечу я на воздушном шаре сквозь ураган и смерч. И верчу руль направляющего паруса, а он у меня из рук рвется, как страховочная лонжа у коврового, когда под куполом цирка канатоходец дернулся. И думаю, ну сейчас грохнусь. И понимаю я, штейн-трапе, что тут решительная минута выбора, и вдруг через все небо молния — и застыла и не гаснет: и вижу на двух концах неба два семисвечника пылают, а между ними огненный канат, а по нему моя мама в розовом трико и в золотом парике — и машет то ли мне рукой, то ли для собственного баланса. И машет ручкой, и кричит сквозь ураган: "Не туда ветрило вертишь!" — а я гляжу то на один семисвечник полыхающий, то на другой и думаю, куда же мне ветрило вертеть? А мама в розовом трико волнуется и снова кричит: "Не туда ветрило вертишь. Верти в ту страну,

где сто двадцать человек глотают друг друга, не отличая правой руки от левых уклонистов, туда верти ветрило и показывай семейный аттракцион!" И исчезла она, а семисвечники все полыхают. И странно мне все это показалось, почему вдруг семисвечники и с чего это на аттракционе с глотанием мама настаивает: она ведь была у нас эмансипированная женщина — всегда была против семисвечников и по проволоке ходила до семейного аттракциона с глотанием, и в Россию отправилась только из-за безумной любви к папе моему, она против этой гастролы была и кричала, что вернется к карьере на проволоке.

И тут слышу, склонились над корзиной моего воздушного шара, где я сижу, два человека в крылатых шлемах и такой разговор ведут: "Передать мальчика нужно по инстанциям, а то подзалетим", — говорил один голос. "Так разве он виноват, малолетка?" — отвечал другой. "Так он же по тому же делу идет", — говорит тот, первый. "А тебе откуда известно?" — спрашивал другой. "А зачем он на наш пароход современности забрался? Если б не он, была б тишь да гладь, Вождя и Учителя благодать. Не иначе, как все погибнем," — настаивал первый. "А может, наш пароход революции не из-за него через чистку проходит, а потому, что мы сами перед Вождем и Учителем виноваты", — сомневался второй. "Он хоть и малец, а семя их уклоняется от указаний Вождя и Учителя, вот с нашей деревней такое и происходит, друг друга есть начала", — настаивал первый. "А если не из-за него? невинного младенца рыбам скормим?" — сомневался второй. "А может, он от указаний своего Бога уклоняется, а нам нагоняй от Вождя и Учителя? Ведь не нашего он Бога-то", — догадался первый. "А если нашего, если не своего, а нашего именно Вождя и Учителя, — тогда общая вина, а мы его рыбам скормим?" — сомневался второй. "А в детских лагерях не в море соленом, позаботятся — обувку дадут, одежду, кружку с миской. А если он не нашего Вождя жертва, то его Бог о нем позаботится". Открыл я глаз и вижу двух мужиков в ватниках и в комиссарских шлемах. "Не вашего я Вождя и Учителя", — сказал я и потянул одного за ватник. "Ну вот", — сказал первый. "Чего — вот?" — сказал второй.

Я с этих пор по тюрьмам их не встречал нигде. А в лагерном бараке мне все больше родное парижское предместье снилось. Бегу я, мальчонка, в коротких штанишках и панамочке, штиц такой, бегу мимо нашего шапито в парк дофина, какой парк! Деревья шелестят, рекой пахнет, опилки кругом, иглы хвойные. И вот уже памятник Жансену, сильвупле, который первый на воздушном шаре над землей взлетел. А на памятнике он барельефом в перспективе из-под купола в корзине приземляется, а под ним — опять же выпуклым этим барельефом — толпа радостных любителей аттракциона его встречает. Он из корзинки ручкой машет, а они ему выпуклыми каменными шляпенциями свое пароль-донер вымахивают. А я мальчонка, штиц такой, всякий раз, когда пробегаю мимо памятника, я Жансена тоже панамкой поприветствую и дальше, дальше — к ангару, где выставки первых воздухоплавательных аппаратов. И дирижабли и стратостаты там с канатами, напряглись все, надутые, как пузо кита, сейчас взлетят, не нужен им берег турецкий и Африка им не нужна. А кругом облака, и с горки, где смотровая галерея, весь Париж виден, как с цирковой галерки. Не пустили они меня в Париж, сантимники. Как я из лагеря на свободу вырвался и пересек границы народов и государств и вступил на французскую таможенную, французик из Бордо, надсаживая грудь, так мне и сказал: "Уголовники французскому народу не нужны; у нас, — сказал он, — своих, отечественных хватает". Знали б они, как я по ночам в лагерном бараке с каждой нары, где одеяльца кусок, где от простыни в каждую смену годами по сантиметру отрезывал, по уголку и сшивал, и сшивал, сколько лет, с каждой нары. Цирковой номер был задуман такой: сошью по кусочкам воздушный шар, выберу ночку потемней и, чтоб ветер в нужную сторону, пришью часового на вышке и с вышки полечу и приземлюсь в парке дофина, рядом с Жансеном, и мне с памятника будут шляпами махать. Помахали они мне не шляпой и не паспортом, а кое-чем, чем французская нация знаменита.

Разве думал я об этом, когда я в одних лагерных подштаниках — ветер свистит в нужном направлении — крадусь через зону к вышке, а воздушный шар через плечо свисает:

чтоб часового пришить и сразу, штейн-трапе, лететь к Жансену. Если б не цирковая выучка, шею б сломал. Потому что после оттепели вдарил мороз, все дерево ледком пошло, руки скользят, вышка качается и даже зубами не удержишься, никакой страховки, потому что в зубах нож самодельный, чтоб часового пришить. Безо всякой страховки, даже без ловитора ползу под купол. Но разве француз поймет, что значит без ловитора на таком ветру? Он и слова-то такого не знает. Это по-цирковому, ловитор, от слова "ловить": тот, кто на одной трапеции ловит того, кто ему навстречу с другой трапеции. А мой ловитор — часовой с автоматом, и мне на него надо прыгнуть и в полете вынуть нож иа зубов и ему под лопатку. И я прямо на арену и прыгнул. Но ветер был пропеллерный! Воздушный шар у меня за спиной мешком висел, а тут как надулся и, пока я перелетал из-под купола на арену с часовым, меня ветром подхватило, шар раздуло и понесло, и понесло! И несет, вижу, совсем в неправильном направлении: не в сторону Парижа, а наоборот, в зону. Проектора накручивают, а выстрелов не слышно: неужели, думаю, меня за тучу приняли? и что будет, если я за флагшток с красным знаменем над зоной зацеплюсь? Но зона, замечаю, пролетает под ногами и остается за спиной, ветер просто ураганный, неужели, думаю, скоро Париж?! И был бы я — ко всему шло — у Жансена через сутки политически законным беженцем, а не уголовником, если б не христианская религия. Потому что сразу за зоной — деревня. А посреди деревни — церковь с колокольной, опилки-навоз! Из-за этой колокольной у меня теперь к христианской религии двойственное отношение: потому что, с одной стороны, я об землю не убился из-за этой колокольной, и это положительно, опилки-навоз; но, с другой стороны, из-за этой же колокольной до Жансена не долетел. Зацепился я, короче, за эту колокольную воздушным своим шаром и повис на ней вместо колокола! И так зацепился, что весь оказался в мешке, одна нога наружу торчит. А попка-часовой на вышке даже носом не повел, не видит в глаза. А под утро снегом стало заметать, ну, думаю, всю зиму тут провишу, а к весне снимут уже мороженое мясо, если вороны не склюют".

"Все врет. Или не врет? Где-то я это уже слышал. Еще в детстве, — ворочалось в отяжелевшей голове Революта и наконец всплыло: — И вас выстрелом с колокольни сняли, не так ли?" — всполошился он.

"А вам кто рассказал? Матраскин что ли? Болтает он много и путаник. Ну да, выстрелом и сняли. У меня из мешка нога торчала, всего присыпало, а нога торчит. На рассвете часовой стал ворон стрелять, мою ногу за ворону принял, одним выстрелом и снял. Качнулся я и слетел прямо в сугроб. Не убился, но ногу прострелянную ампутировали — и не жалко: все равно была отморожена, пока я ночь висел. И сроку надбавили за попытку побега. Я им доказывал, что меня ветром занесло, прямо с нар, потому что в бараке сквозняки, — не поверили. Увидали нитки на мешке, где, говорят, иголку брал? И дали новый срок. Но без ноги я к общим работам был не годен, на деревяшке ходил. И поставили меня на кормежку служебных собак, немецкие овчарки колонну разводят на этапах. Они, вертухаи, не знали, какая у меня во взгляде сила", — и он вытарачил дула пулеметов на Революта. Удостоверившись, что тот вздрогнул, безногий удовлетворенно продолжал.

"Я на нее, овчарку, погляжу, и она у меня руки лижет, а ей ведь, суке, горло перегрызть, как куриную косточку. И стал я у них систематически развивать аппелистость. И через месяц выстроили нас на этап — в другой лагерь перевод. Тут и настал мой выход с моим вторым цирковым номером под куполом цирка с вышкой посреди. Шагает колонна сквозь вьюгу, я позади на деревяшке шлепаю. И как исчезла вышка окончательно с горизонта, я воздуху набрал в легкие и как заорю: "Аз воздам!" — в память, значит, о проглоченном попугае. "Аз воздам!" — кричу, и никто ничего не понял, да не услышал из-за вьюги; но это охрана не слышала и Каменев с Зиновьевым в колонне, не говоря уже о Бухарине-доходяге. Услышали одни овчарки, я у них не даром аппелистость развивал. Глазом не успели мигнуть, а уже все охранники по протяженности всей колонны лежали на снегу с перегрызенным горлом. Как человек с автоматом, — она ему в горло зубами. Магия слова плюс, конечно, аппелистость. "Аз воздам", — вот

она сила библейской речи! Куда Зиновьев с Каменевым побежали, я не заметил, а я — через поле к опушке, с опушки в чащу — шел дней сорок, ногу отморозил, и вышел на железную дорогу к полустанку. А на полустанке ночной поезд. И я — на одних руках с одной ногой деревянной, а другой отмороженной — через окошко в чье-то купе. Плюхнулся прямо на нижнюю полку и чувствую под собой пассажира. Хотел сразу задушить, потому что разбудил его, и вдруг он: "Да я тебя знаю". Откуда же, думаю, ты меня, старая большевистская сука, знаешь?" А он мне говорит голосом нашего родного семейного загубленного попугая: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" И оказался этот мой попутчик самым первым представителем пролетарского государства в кожаных куртках, который, опилки-навоз, перед шапито Семисвечкиных толкал речь про попутчиков солидарности на первых шагах всей труппы в направлении из Парижа в Сибирь. Постой паровоз, не стучите колеса. Признал он меня, и бутылочка у него нашлась. А мы-ка еще разок по пробирочке, нашу семейную, чтоб не остывала, животом ее заглатывай. Стал я ему про прошедшие годы мозги заливать, но глаз у него меткий, а голова у меня бритая, да и нога отморожена, не говоря про деревянную. Но он ничего не сказал, опилки-навоз. А когда бутылку прикончили, он мне и говорит: "Самое светлое в моей жизни воспоминание: шапито ваше, перед которым я с речью выступаю. Все остальное омрачает период культа личности. Нога у тебя, вижу, отморожена, а климат нашей родины все крепчает. У меня же рак желудка от большой совести. Еду на лечение в столицу, но она ведь, Москва, слезам не верит. Весь желудок рак съел, а как начнут совесть промывать, захлебнешься. А ты еще молодой. Может, увидишь светлое будущее. Когда встанешь на два протеза и начнешь свое победное шествие к коммунизму. Я вот к чему клоню, — говорит, — бери-ка мой паспорт и живи под моим именем в другом тихом месте жизни, пока час не пробьет. Мы ведь с тобой на одно лицо, а то что у тебя стрижка тюремная, то я до нее, до стрижки, сам не далек". Обнялись мы, взял я его паспорт, а его самого в окошко выкинул. То есть он сказал, что его — все одно — по дороге рак съест, и я ему помог до

окошка добраться. Был Семисвечкин, а стал Долампочкин. Такие дела. И валялся я в купе, и нога отмороженная стала у меня болеть, и воспаление началось, а с ним начался и бред.

Как будто стою я один на железнодорожном полотне, ночь, только рельсы блестят, а я, мальчонка, приближающемуся поезду семафорить обязан. И семафор-то испорченный — самодельный картонный круг с дырками, а в дырках цветная слюда, а за кругом фонарь для подсветки. Такую "пушку" я мальчонкой в шапито крутил. А тут ветер гудит в проводах, и картонный круг с дырками рвет у меня из рук, и фонарь то потухнет, то погаснет. А момент критический: потому что уже несется по рельсам с горизонта паровоз, и из него искры — из паровозной топки. Я приник к прожектору-"пушке", начинаю крутить самодельный круг с дырками, и фонарь раздуваю, чтоб не погас, чтоб направить паровоз на нужные рельсы. И вдруг вижу, что он на мою ветку, на мои рельсы сворачивает. И все больше становится, и вместо топки у него пасть на боку. И тут вижу я, что это не паровоз на меня несется, а весь наш семейный аттракцион, потому что на ките-паровозе и обезьяна, и попугай, и удав, и крокодил, и все рты раскрыли и хотят меня проглотить. "За что?" — кричу и понимаю, что никто не слышит меня, и я накручиваю свой диск с дырками и пытаюсь его разноцветным лучом с рельсов свести. И тут больно мне стало, и понимаю я, что это уже не кит, а нога моя раздулась до неба и хочет меня проглотить, и, заметил я, крокодиловы слезы блеснули. И уже не знаю я, от кого мне спастись, такая боль, и вдруг жалко мне стало свою ногу, которая меня проглотить хочет, ведь она же моя, нога-то, и она уже до горизонта разрослась, во всю Россию, и стало мне жалко Россию. И тут семь лучей из дырок моего диска-прожектора вспыхнули, и на небе заполыхало семь свечей, и от них через все небо — нитка огненная, а на ней моя мама в розовом трико и в золотом парике грозит мне пальцем и кричит: "Не туда светом светишь!" "Да куда же, — кричу, — мне вертеть да светить?" А очнулся я в областной больнице: ампутировали мне отмороженную ногу по причине гангрены. Прямо с поезда сняли. Я к маменьке родной, голодный и босый, боюсь показаться на глаза. И понял я, что обрыдло

мне все, опилки-навоз, и лучше, чтоб ничего на свете не было. Сначала, чтоб весь белый свет исчез, а потом и самому в опилки-навоз". Долампочкин как будто приподымался на своем кресле и уже летел на своих плечах-шарах над столом — не человек, а голова с руками. И неясно было изнутри, — день снаружи или ночь.

"И выехал я из больницы без обеих ног в инвалидном кресле на колесиках. Колеса руками верчу и все думаю: в правильную сторону верчу или в неправильную? А потом подумал: а может, вообще никуда вертеть не надо? Паспорт у меня выправленный, чистый. Сблизился я с местными инвалидами и стал в ихнем кооперативе работать: компасы собирали для школьных географических кабинетов. На прокорм хватает, а где манеж и арена, залитые электричеством, плюс запах опилок, помноженный на навозный дух, что и есть в результате цирк? Стал ко мне один безрукий подкатываться: уловил, небось, мою тоску по аттракционам. Он сам без рук, но у него был талант ногами гладью вышивать, а его не использовали, выключен был из творческой деятельности. И организовал он движение инвалидов. Вот все кричат: "самиздат, тамиздат, хроника, Корженицын!" И этот еще Мармеладов с водородкой в кармане, а почему движение инвалидов замалчивают?! А у нас целое движение было, хоть и не все могли двигаться: но у кого ноги, те по всем кооперативным инвалидным точкам СССР разъезжали для наблюдения за нарушением. К примеру, подключились к нам немые: почему их не используют в радиовещании? Мы же, безногие, сидели на месте, были мозгом движения. А я по паспорту-то — не бывший вовсе зека, а настоящий старый большевик (а ноги потерял в борьбе против кулацких и нацистских захватчиков, только я не помнил при каких обстоятельствах) — мою подпись всегда хорошо иметь под письмом в высшие инстанции. Стали мы эти письма писать, — про то, что происходит дискриминация инвалидов меньшинств, что мы мол могли бы влиться, а нас выталкивают на тротуары жизни просить милостыню или у пивных ларьков забывать свое классовое сознание. Писали письма в ГБ, ЦК, ООН, Красный Крест и Красную Звезду Давида".

"В Организацию Африканского Единства писали?" — ожи-

вился Револют. — В целях солидарности с теми, кто потерял члены, отъеденные африканскими людоедами?"

"Упустили. Хорошая задумка, упустили. Но и без этого размах движение приобрело всесоюзный. Ко мне обращаться стали как к шпрых-шталмейстеру. Единственный недостаток: не могли с инкорами связаться — за ними бегать надо, а говорить у нас толком могли только безногие. Но и без инкоров все признаки движения были налицо. Даже госбезопасность стала своих двойных агентов подсылать, однако, провинция: мы их быстро разоблачали — у него как будто руки нет, рукав на булавке, но настоящий безрукий так булавку никогда не приколет, руки-то не видно, но пиджачок отогнешь, а у него рука сжимает колыт. И на этом этапе понял я: пора ковры сворачивать. И тут еще один эпизод в моей жизни меня подстегнул.

Жил я с одной, сам понимаешь, бабой в домике мамыши ее, как бы теща мне была. Ну я, конечно, поддавал с товарищами по движению, забывая свое классовое сознание. Это даже отчасти движению и вредило, потому что один местный член-корреспондент уклонился от подписки под нашим письмом по причине того, что от нас несло: "Нельзя, — сказал, — дышать в лицо свободе винным перегаром". Но это я ему в лицо дышал винным перегаром, а вовсе не свободе. Но дело не в этом. Теща-мамаша не за то боролась, а исключительно за трезвость в доме. И вот посоветовалась она с бабками во дворике: как мол зятя от зелья отучить? А те ей посоветовали: поймай, говорят, бродячую собаку, выпусти из нее кровь в бутылочку и дай зятю выпить стаканец, вредную страсть как рукой снимет. Она так и сделала, налила собачьей крови в бутылку портвейна "три семерки", поставила в холодильник и меня стала ждать во дворике. Но соседский сын, любимец мой, будущий инвалид, весь разговор слышал, подскочил ко мне в кооператив и все рассказал. Я же в обеденный перерыв заскочил в магазин, купил портвейну той же марки, с заднего хода зашел домой, бутылку в холодильнике подменил и обратно на работу. Теперь слушай. Возвращаюсь я с работы, меня теща встречает как родного: "Садись, говорит, зятек, устал небось, безногий, выпить, говорит, с работы надо муж-

чине". И ставит на стол закуску, стаканы и эту самую бутылку "три семерки". "А ты,— говорю, — теща, со мной не выпьешь, что ли?" Она головой отрицательно качает, улыбается, а сама, вижу, вся трясется. Ну я этого портвейну, то есть по-тещиному собачью кровь, наливаю себе полный стакан. Теща на меня таращится. Я стакан к губам поднес, поглядел на нее внимательно и выпил залпом до донышка. Она сидит — не вздохнет, не выдохнет. А я глаза выпучил, весь передернулся, потом застыл и тут, не сводя с нее взгляда, вдруг и сказал громко: "Гав!" Она с табуретки и упала. И больше не встала: разрыв сердца.

Винюсь, не удержался от циркового номера, уж очень натурально гавкнул. По моим подсчетам, мне за этот номер грозило пять лет за непредумышленное убийство — в лучшем случае. Но я со своей биографией и чужим паспортом и пяти месяцев позволить себе в то время не мог. И в этот единственный миг опасности, влив в себя фальшивую собачью кровь, вдруг осознал я: ведь я дрессировщик, опилки-навоз, и, может, попугай и обезьяна, и удав, и крокодил, может, они и на низкой стадии исторического развития, но я, дрессировщик, с ними должен быть, потому что и деды и прадеды мои с ними всегда были и с ними правда была. Так я тещу под табуреткой лежать и оставил, на попутный поезд сел и без всякого вызова, свои протезы надев, пошел к светлому будущему. И вспомнил я свой дар: как подхожу к очередной государственной границе, какую овчарку взглядом загипнотизирую, а какой шепну откровенно: "Аз воздам!" — и свободно миную все рубежи. И шел я так обратной дорогой своего семейного аттракциона и, минуя очередной рубеж, опилки-навоз, скидывал с себя часть одежды, плюя через левое плечо. Так и пришел я в Вену ну голый совсем. И подался прямо во французское посольство как потомственный французский гражданин и стал просить политического убежища. Но они мне кое-чем на эту просьбу помахали и кое-что на меня положили, кинули через забор одежду разве что. "Тут, — сказали, — и так советских агентов как собак нерезаных. — Иди, — говорят, — в "Джойнт", там всяких берут". Когда добрел я до этого "Джойнта", прикрывая свою брэнную плоть француз-

ским шмотьем, и разобрался куда ветер дует, всплыло у меня в памяти пророчество моей мамы: "Иди в ту страну, где сто двадцать человек не отличают правой от левой", и я так и понял: в ту страну, где пишут справа налево, а иначе как же понимать? А там еще каждому новоприбывшему на самое старое место в мире дают государственные ссуды. Я на эти ссуды холодильников и гарнитуров не покупал: пропить всегда есть что. Я купил себе крокодила, удава, обезьяну и попугая. И вот столько денег загреб своим семейным аттракционом, что до сих пор с мыслями собраться не могу. Теперь в глотающей пирамиде все, кроме попугая, изображали арабские государства — производителей нефти, — заглатывающие друг друга. А попугай, значит, кричит: "Аз воздам!" как первое за две тысячи лет сионистское государство, каково?

Показывал я этот аттракцион, показывал, — со всего мира приезжали смотреть, как они друг друга глотают из-за нефти, и — ничего! Ну ничего, просто опилки-навоз, и никакого раскаяния, одна война судного дня. И обрыдло мне. И виденья больше нет. Не показывается мама, не машет больше с огненной проволоки в нужную сторону. К чему же пророчество было, если пользы от него нет нигде никакой? Ошибка произошла там, — и он ткнул костылем туда, где был потолок. — Ошибка произошла там со справедливостью. Зачем же послала судьба всю нашу семейку показывать аттракцион с глотанием в Россию; в ту страну, где и так все друг друга глотают? И зачем меня туда потащили? Я всегда ведь на стороне мамы был, которая по проволоке ходила. И вот после всего, после всех моих аттракционов продолжают во всем мире глотать друг друга. Как же это получается: или пророчество лжет, или я чего не так понял? Чтоб свою жизнь всякому прохожему как анекдот излагал? И знал ведь я, что не помогут никакие аттракционы, я человечью породу еще в лагере изучил. Ведь я чего — хотел только на воздушном шаре улететь к куполу, чтоб ноги были целы. Улетел, пока ноги целы. Ног теперь нету. Вот я тутовое дерево посадил: быстро выросло, на юге все быстро растет, даже тень. Думал, черт с ним, с пророческой миссией, одно тутовое дерево, другое, — собачек тренирую, опилки пойдут. Сидел в тенечке, размышлял о

каверзах истины. Я ведь тут один на всю пустыню понимаю, в чем бремя истины. Тяжело на себе нести бремя истины, опилки-навоз. Вот сидел я под тутовым деревом, глядел на гору Синай. Вот с нее Моисей скрижали завета снес. А потом они раскололись из религиозных соображений. Но ведь никто не подумал: какая она высокая, гора эта Синай. И что ему тяжело было нести эти скрижали, они же каменные. Только я, безногий, могу это понять: он же хромой был. И раскололись они, думаю, потому что уронил он их, не было сил нести с такой высоты. Потому что все про грех думают и никто про страдания того, кто истину несет. Из-за них, грешных, надывается. И из-за них пророчества не сбываются. И народа Ему всегда жалко, этому Вождю и Учителю, а носитель истины без ног остается. И вот все чаще задумываюсь я: а не пора ли эту невинную матушку-Россию хорошенько пропесочить? Ведь из-за нее все у меня и началось. И, может, недоказывали мы ей свой аттракцион? с глотанием? Вот наберусь я тут сил, овчарок натренирую для защиты нашего государства и двинусь: двинусь на Россию, крокодил удава будет глотать, удав обезьяну, а обезьяна же попугая, а попугай как крикнет..."

"Аз воздам!" — вдруг раздался гортанный визг попугая из коридора. Безногий перескочил в кресло на колесиках и рванулся в коридор: "Чего это он? Он же под тряпкой кричать не должен?" Когда они выбрались в коридор, то обнаружили, что тряпка с клетки была сброшена, а дверь в дом распихнута. Револют сразу догадался: "Каштанка!", — позвал он, однако дом и пустыня отвечали только эхом его собственного голоса. Каштанка сбежала, сдернув с клетки тряпку: попугай в этом доме функционировал еще и как сигнал тревоги — тряпка была привязана к двери, и, как только дверь открывалась, тряпка спадала с клетки и попугай кричал свое "аз воздам!". Недаром Каштанка так долго пряталась при отъезде и вырывалась из рук и не хотела лезть в корзину и покидать Иерусалим. Она возвращалась домой. Надо было ехать за ней, и уже гудело такси, вызванное в обратную дорогу. Весь вопрос: в обратную дорогу — куда?

"Куда ж направляетесь?" — спросил безногий. Он подъехал

в своем инвалидном кресле к краю пропасти и, склонив голову, глядел на засохшее тутовое дерево. Косые лучи как будто изгибались вечерним ветром пустыни, огибая его голову в берете. Он всматривался через пустыню, вглядываясь в рубежи той страны, где сто двадцать человек не отличают правой руки от левой, высматривал арену для будущего аттракциона.

"Тяжело на горе жить. Потому что воздух разряженный. Трудно дышать. Но видишь дальше, — сказал Семисвечкин. — Я тут посижу. Я вашу псину за километры выслежу и загнипотизирую. Отзовется. В Россию с ней пойдем. Может, и вы присоединитесь? Мне ковровый нужен, а если хотите, и шпрех-шталмейстером можно, а?"

"Нет, — решительно сказал Револют. — Мне нужно к Эйфелевой башне, проверить недостающее звено", — и он уселся в черный мерседес.

"К Жансену, значит? И напрасно: у нас один общий путь. А от себя не убежишь. Сокрыто же это у Меня, запечатано в хранилищах Моих. Но только не сплетничайте про меня, не будете обо мне сплетничать? А за псину не волнуйтесь. Псина вернется".

"А вы никогда ничего не теряли?" — спросил Револют, вспомнив, по какой причине привез он сюда своего лучшего бессловесного друга.

"Где?" — переспросил безногий.

"Ну в жизни".

"Терял? Да две ноги вот потерял. А так, все остальное всегда при себе ношу, потому что гол как сокол, одна душа непривязанная. Чего не потеряешь, того, брат, не найдешь, — пробурчал дрессировщик, пожевывая лавровый листок. — И чего вы там забыли-то, на Эйфелевой башне?"

"Вот это и предстоит вспомнить, — уклонился Револют от ответа, а вспомнил напоследок совсем другое: — Тутовое дерево! как же с тутовым деревом — ведь засохло? и не жаль тутового дерева?" Но ответа услышать не успел или не слышал, потому что черное такси заурчало и осторожно двинулось вниз, огибая пропасть под заходящим солнцем. Из окошка такси Револют наблюдал, как луч солнца как будто поджег голову Семисвечкина и как его кресло стало съез-

жать вниз, в пропасть, к черту на куличики. Или же это автомобиль заруливал вниз, а кресло, постепенно исчезая за выступом как будто валилось в пропасть, пока наконец берет дрессировщика, в последний раз вспыхнув солнечным нимбом, не исчез с горизонта. Только звякнула бутылка из-под самогона, отброшенная безногим.

* * *

Квартира, в которую он вернулся в поту и пыли, встретила его черной пустотой. Он хотел позвать Каштанку, но подавился собственным голосом, когда понял, где она осталась: в пустыне. Ты отошла, а я в пустыне к песку горячему приник. И слова гордого отныне не смеет вымолвить язык. Не зажигая света, он разделся, путаясь в брючинах, стаскивая туфли, и стал заворачиваться в одеяло. Он всегда подтыкал одеяло под бок, подвертывая его под себя ногами, а на голову клал подушку или закрывался одеялом с головой, как в психизоляторе, чтобы курить под одеялом. Но на этот раз одеяло вдруг сократилось, и, когда он подворачивал его под голову, вылезали наружу ноги, а когда удавалось подвернуть одеяло под ноги, вылезала голова. Он присел и стал расправлять одеяло, и, казалось бы, оно принимало прежние размеры, но как только он укладывался, одеяло снова предательски сворачивалось. Что же может быть жалче картины одинокого стареющего человека, пытающегося расправить одеяло в пустой холодной квартире? Он снова уселся на раскладушке, нащупал ногами туфли и встал за сигаретами. Сделал в темноте два шага и вдруг налетел на что-то, больно ободрав колени. Щелкнул выключателем и увидел в слепящем свете, что налетел он на цветы в огромной корзине. Корзину передал на той неделе почтальон, сказав, что цветы по адресу соседней квартиры, но соседей нет, и не мог бы Револют, — спросил почтальон, — передать эти цветы соседям, когда они, соседи, вернуться. Но Револют про цветы тут же забыл и сейчас понял, что они простояли вот уже дней десять. Тихонько выйдя на площадку, он дошел до двери соседей и увидел, что она вся излеплена записками: соседи, видно, так и не возвратились. Вернувшись в квартиру, он стал рассматривать цветы, кото-

рые оказались искусственными, в виде венка, и в них торчала записка, написанная на непонятном восточноевропейском языке. Напрягая свои лингвистические способности, Револют разобрал слово — немецкое мертвое слово "штербен" — и без всякого удивления понял, что это похоронный венок неизвестно по кому в память. Он сидел на раскладушке в трусах и тупо глядел на этот венок, когда глаза его остановились на околышке московского конверта. Извещение о смерти тетки, на которое он так и не дал ответа. В эту прекрасную иерусалимскую ночь ты обнаружишь себя в мавзолее, который ты выстроил из собственных намерений. И это и есть наказание за преступление. И тебе придется писать ответ.

"Уважаемый Наум Александрович Кьеркегор, — стал быстро шариковой авторучкой писать Револют на оберточной бумаге, к которой с обратной стороны приклеилось письмо Блюмы Карловны. — Я знаю, что Вы считаете меня легкомысленным и потому опасным эгоистом. Но если я и эгоист, то абсолютно не легкомысленный, и хочу Вас спросить: кто из нас отказывается от этического во имя абсолютного долга? Я Вам прямо скажу, и Вы, как человек простодушный, то есть простой души человек, меня поймете: речь идет о жертве Авраама Богу, о которой Вы в свое время так прекрасно говорили в связи с эпохой коллективизации культа личности врачей-вредителей. Я хочу тоже засветить эту тему жертвы Авраама в связи с жертвами во имя отъезда после XX съезда. Если бы я поддался на уговоры близких и Блюмы Карловны и остался бы, я бы довел себя до духовного самоубийства: было бы ли это настоящее самоубийство или жертва Авраама, где я выступаю и в качестве Авраама и в качестве Исаака? Оставив же близких, совершил ли я обыкновенное убийство или это божественное испытание? Блюма Карловна считала, что Авраам — это она, а я Исаак — с точки зрения моего оставания в России: я жертва во имя России. Я же считаю, что Блюма Карловна была жертвой моего отъезда: меня, то есть Авраама. Но ведь Бог все-таки не позволил Аврааму дойти до человекоубийства, возвратив Авраама в рамки этического, а у меня как-то так не получается, если только Блюма Карловна не воскреснет, но это значит надо ждать Мессию.

Вы скажете, что моя жертва — не авраамова, потому что отъезд вовсе не святое дело, а открыто антисоветское. Но на это я Вам могу возразить, что и этический и абсолютный долг в Советском Союзе диктует не Господь Бог, а его аббревиатура — ГБ, от которой у меня есть справка о реабилитации, и считаю, что я в смерти Блюмы Карловны не виновен, за гебистские долги расплачиваться не собираюсь, а уехал я во имя того абсолютного долга, который..."

Во имя какого действительно абсолютного долга он уехал? Долга по имени "Который"? Но тогда он не абсолютный, а относительный, этот долг, если он требует "каторости". Но ведь строилась какая-то крепость, своя Эйфелева башня, в знак протеста: против или во имя? Была логика в борьбе против навязанной идеологии. Всегда можно было отыскать враждебную идеологию и начать отгораживаться от нее башней из логики. Но исчезла Каштанка и с ней логика. Умерли все близкие, а вместе с ними и та Россия, которую не замечаешь, потому что живешь вместе с ней вне зависимости от идеологии. Осталась Советская власть и граница на замке. Ты всю жизнь нарушал чужую межу. Как же мол мне, рябине, к дубу перебраться, я б тогда не стала гнуться и ломаться. Все обвинял в каменистости почву, переходил чужую межу и, услышав стук шагов по мосту, вздымал копье. И копье летит чаще всего по ошибке: крепость воображаемая, стены еще не выстроены, ров еще не вырыт. На строительство этой крепости уходит жизнь, а ты спешишь упрочить свою цитадель, попадая в чужую волость с невидимыми стенами. И ты запираешься в этих несуществующих еще стенах, воображая, что этот монастырь души твоей, крепость твоей воли уже построена и цитадель сердца возведена логикой ума (какие, однако, обороты, какой же я, однако, в ту пору был немец), забывая, что единственная твоя крепость, а не чужая строится привязанностью, которая все путает и, спутав и перессорив и разделив и отомстив, дает возможность увидеть ту страну, которая вечно непреодолима, которая дает надежную защиту от ветра жизни. Но мы бежим от этой стены плача и строим свои собственные города у речных излучин, где шумной жизни заметен рост, чтобы заточить себя в воображаемой крепос-

ти, мы строим стены, забыв, что нет крыши над головой, и ермолка небес давно продырявлена. Так поступаешь ты, вор собственной судьбы, все время выстраивая себе тракт, моща его камнями, вытасканными тайком из стен собственного недостроенного дома.

Вот именно: комната с четырьмя каменными стенами и кафельным полом, с амбразурой окна замкнулась вокруг тюремной геометрии. Ведь мы помним нашу комнату лишь тем креслом, которое стоит в том углу, и тем пятном на потолке, за которое цепляется взгляд, когда дремлешь на диване; тем видом из окна, когда выглядываешь проверить, нет ли дождя. Но тут он, меряя шагами квадрат кафельного пола, понял, что сверху над головой каменный потолок, снизу каменный пол, а с четырех сторон каменные стены, и все это повисло на высоком этаже крепости, в каменном мешке, в котором он, получается, заточен. Каменный мешок с амбразурой непроницаемых жалюзи. Тут можно биться "ласточкой", именно в кавычках, когда твои руки привязывают к ногам и привешивают к потолку на крюк. Сочился свет сквозь щели жалюзи, и тень револьтова слоилась какой-то водяной рябью по четырем стенам. И он узнал, что смерть — это, когда знаешь своей бессмертной (вплоть до желтых прокуренных ногтей) душой, что только ты один остался на свете, а вокруг сплошные тени. И вот когда он до этого догадался, снова услышал короткий перестук: то ли отбойного молотка в пустыне или же соседа по тюремной крепости? Этот короткий перестук снова возобновился и машинально по тюремной камерной привычке сложился в голове в слова, сцепляя стучки по числу с номерами букв алфавита.

"По какому делу сидишь?" И дальше снова стучало то ли за окном, то ли через далекие трубы батарей, но в этих стуках уже не было алфавитного смысла. Потом снова все смолкало, но когда снова возникали очереди перестука, только одна фраза расшифровывалась: "По какому делу сидишь?" И вот за долгие годы он вдруг как будто услышал знакомую речь и вслушивался в этот знакомый шифр, как в материнский шепот, склонив по-птичьи голову, прижимаясь ухом к камню: "По какому делу сидишь?" В этой почетной пустыне, у пою-

щих стен он очнулся и понял: надо потребовать, чтобы ему выдали уголовно-процессуальный кодекс, он имеет на это право по всем законам, даже поставленный вне закона.

Наступило утро, и начинали лязгать кастрюли в соседних квартирах, и чьи-то шаги, и рокот спускаемой воды, и стук ножа, рубящего лук, и утренняя смена отбойного молотка, но из всех этих случайных перестуков складывался все тот же вопрос: "По какому делу сидишь?" И зажатый четырьмя стенами добровольной тюрьмы, Револют показался себе диктатором, наделенным верховной силой для того, чтобы справлять черную мессу во имя своей, выцарапанной у земной власти справедливости, согласно законам той четвертой, не существующей в мировом суде книги. Однажды своим отъездом поставив себя вне закона, объявив, что "Государство — это Я", надо было творить свое собственное железное законодательство, не считаясь ни с какими жертвами: ни авраамовыми, ни сталинскими. Но этот проклятый перестук — то ли в грудной клетке, то ли за говорящими стенами — насмеялся над ним: получалось, что его Государство ему не подчиняется и жертвы диктуются другой организацией, с другой аббревиатурой.

Игорь ПОМЕРАНЦЕВ

МОНОЛОГ

Как раз рассматривала книгу с фотографиями о России. Там такие лица, что у меня кровь застыла от ужаса, но то же просто от изумления. Снимки бытовые. Так себе представляла, как ты там расхаживал и их рассматривал, а может быть, даже не замечал, только здесь замечаешь ужасных немцев, так как другой ужас.

Вернулась с женского такого вечера — там танцевала танцовщица турецкие и арабские танцы — животом. Только для женщин. У нее была такая фигура, как у меня, хотя я, смотря на нее, думала, что я худее, но, придя домой и рассмотрев себя в зеркале, увидела, что точно та же самая, только не умею так крутить животом.

Часто разговариваю с тобой, так и то мне приходится все переводить на русский: так и живу в трех речах. Про любовь тоже не могу много сказать, так как не страдаю, а живу в глубокой связи с тобой, такой глубокой, что почти без эротики.

Я сегодняшней вечер под влиянием шока от судьбы арабской женщины. Встретила на прогулке бывшего коллегу по университету — араба из Сирии. Он вел себе женщину, видимо, из тех стран, и очень ему хотелось мне ее показать. Я его знала как самого ограниченного студента философии со склонностями к "бабничеству". Его женщины были с северных стран. Он мне теперь представил эту как его жену и рассказал, что он ее получил четыре месяца назад, что, соответствуя мусульманскому обычаю, его брат в его заместительстве на ней в Сирии женился, отец ее выбрал и вот — послал Могамеду в Европу. Я на него смотрела, не веря, но он, начиная нервничать, повторял, что это так положено, вот другая страна, другой обычай. Я напомнила, что эта система очень невыгодна — большой риск, тут он согласился, но сказал, что ему повезло, что все хорошо и скоро, даст Аллах, дети будут. Все это известно, но шок был для меня, что этот человек живет уже более десяти лет в цивилизованном мире и что сразу так упал в старые привычки. Он очень старался делать серьезный приличный вид, и я уже видела во всем этом его усилие начало катастрофы, хотя она еще по-рабски улыбалась, а одета уже в европейском платье. Парадокс был в том, что они были одеты по-западному, а я — в моей одежде женщины из гарема. Долго еще была недовольна собой, что от удивления все смеялась, а не сказала свое мнение про рабодержавца. Даже очень весело с ним рассталась, как будто он мне рассказал шутку.

Депрессий у меня больше нет, знаешь, исчезли, как я про них рассказала бельгийке на прогулке неделю назад. Она от них расстроилась, получила головную боль, и я освободилась. Это вроде нечестно, но ведь она мне уже несколько раз рассказывала про свои проблемы, и я все выслушала.

Мне американец стоил кучу денег, так как ходили в рестораны, и каждый счет был, как измена; я уже чувствую с каждой суммой, которую трачу не на наши свидания, что тебе изменяю. Поэтому живу довольно аскетично, есть ведь цель. С американцем рассталась легко, поехал сильный, замкнутый на родину. Он все не понимал мои реакции и я его. Должны были как-то все время объяснять, что имеем в

виду. Я уже знаю, пока ты будешь ревновать, я буду знать, что меня любишь, хотя и плохо любишь. Буду задавать поводы к ревности. Так ты страданий своих только временно избавишься или как Сван в конце и потом навсегда.

Когда я войду в номер, я сама разденусь, но молча и медленно, начиная с груди. Будешь меня потом жестоко любить?

Чем больше русских знаю, тем больше уважаю твою стойкость и удивляюсь, как ты смог многим не заразиться. Да, смертельно не заражен, как много видных представителей вашего мощного народа. А вот господин Доктор меня разочаровал. А ты говорил, что он не тяжелый человек. Он мне очень напоминал секретаря Ленгорсовета.

Я сначала долгое время мужественно держалась, но к концу тоже на меня напала моя славянская жестокость и нетерпеливость. А мой муж очень по-западному толерантно и вежливо и мягко его расспрашивал. К концу (5 часов продолжалась наша встреча) Доктор ходил по комнате зеленый в абсолютной напряженности, а у нас трещала голова. Мой муж вопреки всей толерантности заболел и пролежал весь следующий день. Я пошла плавать и смыла советскую пыль.

Вылечившись, мой муж превратился из пацифиста на борца и сказал, что эти люди правы, когда предостерегают нас перед самими собой. Я Доктору еще за обедом сказала, что он лично большая опасность для западной демократии. А он не возражал.

На одной стороне, при таких встречах восхищаюсь, что ты до того не дошел, но, на другой стороне, у меня появляется такой страх, наверное, есть у него запас ужасов, но сумел большинство подавить, и проходят на свет только верхушки, но они не лодочки, они верхушки огромных подводных гор. И я с грустью слушаю те же фразы из уст другого, и они больше не проявление индивидуального, а национальной тошноты. У тебя было бы может то же самое про меня. Но вопреки всему, всем моим сомнениям, страхам, борьбам, остается ядро, которое у меня и твои земляки не возьмут, и ты сам никогда не возьмешь, сделавши что угодно.

Мне теперь как-то и хорошо, но нелегко. Мы как-то разрешили нашу связь, мне ведь даже больше не хочется, так как

из-за собственной экстремности не выдержу с тобой больше пяти дней. Всегда рада уезжать, чтоб освободиться от рабства, которое сама себе причиняю. Но факт, что все разрешено, что проблем нет, что все удачно получается, меня печалит. Знаю, что такая печаль извращенный люксус, и мне даже немножко стыдно, что у меня такие дворянские проблемы. Как я рада, что однажды умрем и не будет борьбы.

Как раз позвонили из издательства и рассказали, что Доктор был воодушевлен от нашего разговора, сказал, что у него еще никогда не было такого высоко душевного разговора, с тех пор как он на Западе. Он человек, который не слушает, так просто кажется, но должен же ведь слушать, раз уж так хорошо описывает людей. Так что он, по-видимому, на все реагирует. Сказали, что собирается описать нас в своей книге. Это будет уничтожающе (что касается меня). Я там сидела, развалившись в нашем парижском платье — символ западного люксуса, — и говорила про необходимость чистого воздуха. Он сделает ужасную пародию. Вот в столкновении с русским себя вижу западной.

А ты лучший слушатель в мире. Меня вообще никто не хочет слушать, значит, и хотят, но не так долго и интенсивно, как ты.

Сию в поезде, опять у меня освобождающее независимое чувство. Читаю вашу здешнюю газету: мне совсем этот ваш народ непонятен, три страницы об Александре Втором, на одной странице какие-то восклицания христиан, исповеди, стремление к православной церкви — они все затухли, сошли, из одного гнета быстро в другой, но чтоб был такой хороший, знакомый, старинный, чтоб не было местечка на боязнь, на пространство. И вот такой народ, запуганный, жестокий, властвует над моим европейским. Какой боязливый народ — то к православию, то к коммунизму, то к буржуазной нравственности. Я забыла, что ты — светлое явление, но такое не очень яркое, такое осторожное. Ты у меня вне вашего сумасшедшего народа. Император до тебя дотронулся, — ты ведь не рад, что убили. А пусть царей убивают, это ведь их риск. Мне очень нравятся революции. Но нет у меня страны, потому занимаюсь любовными делами. Все какие-

то мечты, я просыпаюсь и ярко помню — целовал правую грудь, больше не засыпаю. А когда стану беременной, ты меня тоже будешь встречать? Есть мужчины, которые очень любят беременных. Я очень одурею, стану вегетативной, усталой, святой, религиозной, как растение, каждый день буду из-за мелочей плакать, думы только про ребенка, хорошее питание, свежий воздух, жизнь в деревне. После родов буду кровь и молоко, блаженность без экстаз, без гор, без мужчин (нарочно поставила горы перед мужчинами — это, конечно, неправда).

Еще десять дней до нашей встречи. А ты быстрее сжигай письма, иначе ты все в страхе, что обнаружат. А что, когда обнаружат? Убьют? Будет страшно? Невыносимо? Вина и ужас? Вчера, когда шла в газету, был долгий путь, и я вспомнила про то, что ты говорил в кафе, что расстанешься, и опять расплакалась от обиды, что считаешь ревность даже доказом любви. Когда мне еще до тебя наркоман — не способен меня любить — рассказывал про свою любовь к своей подруге, я почувствовала сильную любовь к нему, что он ее так хорошо любит. Он меня, конечно, не понял в этом и считал, что я лгу. Мои перверзии тоже в рамке гуманности. Эта связь с тобой в высшей степени нравственна. И культурна, достойна. А был бы негр из Рио-де-Жанейро — это моя мечта найти себе анонимного негра на карнавале — эту мысль ты мне подобрал, уточнил, она у меня была и до тебя — было бы недостойно — эксплуатация человека, мастурбация. Я должна тебе тоже осторожно писать, чтобы не показывать мои плоские страницы и бесчувственность и грубость, которые у меня тоже есть. А как хорошо, что я не гадкая, столько наслаждений была бы лишена. У нас теперь ночевала одна красивая в лице регулярная девушка, испанка, она стала подругой мексиканца. Она меня изумила своей красотой, она тоже умная, единственно, что меня спасло, что она не славянка, значит, славянской димензии у нее нет. Единственное, на кого немножко ревную тебя — это украинки.

Я теперь пролежала два часа в постели после звонка, у меня появилась такая идея, которая меня не покидала. Я себе представила, что у нас будут два дня времени, первый —

половина, ночь и другой — целый. Я все себе представляла до подробностей, не знаю, почему я думала, что не выдержу и попрошу тебя, чтобы меня там целовал, и ты откажешься, ты, наверно, откажешься, и это меня приблизительно час волновало, я потом буду говорить только о своем, забуду говорить о чужих, наверно, расплачусь, и тебе будет страшно, но ты меня не будешь целовать. Я не буду обижена и страдать, только буду делать вид. Так как русский не родной язык, я могу все эти вещи писать, он для меня туманный, на родном бы в жизни не написала. Я пишу точно, как акробат, не смотрю направо, налево, шагаю. Я даже эти строчки пишу, сидя за столом, за спиной разговаривают муж с мексиканцем, мое нахальство — не нахальство, а не знаю что.

Еду в горы. Когда буду кататься, быстро, быстро, чтоб близко смерти, буду думать про тебя. Наверху совсем мало воздуха, тяжело дышать; когда без остановки съеду 1000 метров разницы до деревушки, буду счастлива. Я непременно буду одна кататься, чтобы мне не мешали при моих экстазах. Они не всегда приходят, это подарок, никогда не знаю.

Не знаю, почему у меня такая сильная эротическая тенденция, я ведь жила временами совсем трезво и фригидно. Мексиканец нам делает ритуальные изделия как подарок. Он хороший человек, я совсем не замечаю, что он здесь, все спокойно, молчит, ему не тяжело, мне не тяжело, совсем непринужденно. Бельгийка мне опять что-то рассказала про самую красивую ночь в ее жизни, но не детально. Я на нее так эзотерически смотрела, что она спросила, не больна ли я, не хочу ли минеральной воды.

Когда приедет Р., обнимать не буду. А когда он захочет, как могу ему отказать, ведь десять лет сидел! Трудно отказать из гуманности (не в роде Эмнести) должна отдаться. Какой ужас меня ожидает! Я еще раз посмотрела его письмо. "Обнимаю Вас сердечно". Ну "сердечно" — это ведь формальное слово, и такое объятие допустимо, такое бодрое, дружеское, что ты думаешь как владелец русского? Я такая милая, что тебе все говорю, радую, делаю комплименты, описываю свою страсть к тебе, как тебе меня не любить? Повезло, на-

шел себе славянскую душу на чужбине, а я с отрочества должна была страдать, настраиваться на чужой менталитет. Ты меня твоим письмом разорил, всю мою гармонию души расколол. Ты мне так красиво написал, что я расплакалась и побежала в подвал, чтобы меня никто не видел. Думаю, это у меня начинается что-то похожее на французские гостиницы. Как все это у меня смешалось — тело с душой и духом. В нашем замке у озера ты себя вел удивительно непринужденно. Была бы я мужчиной, и должна была начинать я, тяжело было бы мне. Ты тоже знал, что ты должен начинать, это ведь нагрузка, но ты все очень элегантно сделал. Такое я еще не видела, а ведь у меня целовальный опыт! Сегодня воскресенье. Мне снилось, что мы были где-то в гостинице, такой холодной на первом этаже, в больших постелях, я одевалась, а ты лежал, и сразу вошла моя мать, нервная, недовольная, что меня уже долго ищет, и сначала не заметила тебя, но ты, как нарочно, пошевелился, тогда она сказала таким властным голосом: "Выйди, мы должны вместе поговорить". Мне было как будто десять лет, как будто меня бросили назад, все дежурят за мной, жизнь узка, некуда мне деваться, и ты меня не спасал. Но это было в ночи, а теперь мне уже хорошо. Я в первый раз сознала, что, если это так будет продолжаться, я ведь должна буду как-то жить одна, должна буду с основы измениться, мне при этих перспективах закружилась голова.

Знаешь, что я часами делаю? Выписываю из "Правды" адреса членов Верховного Совета: надо посылать письма об отмене смертной казни. У меня карта СССР, так как я должна детективно искать эти места, и со странным чувством печатаю адреса разных бригадиров, шлифовщиц, колхозников — там столько женщин, мне их так жалко, у меня с ними очень глубокая связь, я представляю себе их усталые лица, их полные фигуры, их детей и думаю, как они будут читать письмо. Я непременно постараюсь, чтобы на конвертах были красивые марки. Печатаю по-русски, путешествую по вашей нахально огромной стране.

Когда это начнет больше, я попробую убить каким-то поступком. Вот, например, тобой я окончательно убила нар-

комана. Сегодня мне попался его снимок, и я старалась найти в нем то, что любила, и больше не могла. Очень странно, как абсолютно ничего, ничего там не было. Вот это начинает меня тоже пугать, эта абсолютность чувств, эти концы. А ты такой замкнутый, абсолютно несдельчив. Даже в лице никогда ничего не могу уловить. А я вся раскрываюсь, как на рынке, ужас, вот это пролетарская черта у меня, нет, нет, нет ничего царьского, ничего дворянского. А замкнутость элитарна, ты всегда в лучшей позиции, сохраняешь военные секреты. Мое единственное оружие — неожиданность, изменение фронтовой линии. Тоже теряю чувство реальности. Отсутствие этого чувства мне позволяет все делать. Вот когда я ехала в Страсбург и приходила на наш вокзал, я всякий раз подумала: "Вот и делаю это, действительно делаю, вот покупаю билет, сажусь в поезд". У меня было вчера такое плохое приключение. Ночью, возвращаясь от княгини домой, напал на меня один молодой парень, он шел напротив и схватил меня за грудь и странно захрипел. Я его оттолкнула, заорала тоже вроде, как он, он пошел, и я ему от бессилия бросила: "Ты свинья". Как славно, что научили меня писать по-русски, ярко чувствую, как культура блаженна. А у тебя по телефону какой-то мужской голос, как бывает у мужчин с майками и собаками. Уже неделя прошла. Все это изнуряюще, раскладывает меня, фантазирует. Какой умный был наркоман, что он меня не хотел. Но ты, конечно, умнее, гораздо умнее, что хочешь. Я уже знаю, что хочу с тобой сделать в Париже: пойти в фантастический и магический музей. Ты разочаровался? Конечно, все еще хочу вместе принять душ. У меня были довольно трудные дни. Мой муж ушел на ночь к какой-то другой женщине, чтобы меня спровоцировать. Он меня спросил, была ли я тогда в Линце с тобой, и я должна была ответить, так как он все знает. Но больше не сказала. Я теперь читаю Чехова по-немецки, про безнадежные внебрачные связи. Муж хотел переселиться и другие какие-то вещи и все хотел знать, как я себе брак представляю, я так истощилась, все у кого-то какие-то права на меня. А ты мне прости, что должна была сказать, мне во лжи невыносимо, да и все заметно.

Бельгийка мне опять рассказала про свою любовь и сказала интересным образом, что она женщина, которая ничего не дает, что мужчина ей должен все отдавать. На мой вопрос, почему она не дающая, сказала, что истощилась детьми и преподаванием музыки. Очень тебя люблю, когда в телефоне ты так быстро и тихо говоришь, что почти непонятно, тогда у тебя нет этого уверенного голоса взрослого мужчины. Твой голос прямо у меня в подживотии и потом всюду. Начинаются опять мучительные наплывы.

Меня ждущая на вокзале толпа знакомых была ошарашена одеждой рабыни арабского гарема. Только сын в объятии сказал: "Какая красивая!" Я была счастлива на почти родной земле. Как все повторяется! Я совсем не лучше твоей жены, а ты не лучше моего мужа. Временем вырабатывается у нас тоже механизм привычки, фасцинация становится слабее, наступает брак, борьба с прозой, секс теряет философию, не стремится главным образом узнать суть другого человека. Вот это последнее меня сильно поразило. Поэтому я рада, что теперь здесь без тебя. Я любила мою мучающую меня возлюбленность, так как она сильно одушевляла все и давала мне чувство надменности над всеми другими. Не карие прищуренные глаза при ощущении перешагивания границ, не руки при ощущении собственной молодости помню, а тебя как человека, даже не как мужчину.

Мой красивенький, у тебя был такой грустный, грустный голос. Мне было тоже страшно переехать в чужую страну, я всегда забываю, что мужчины тоже люди, что им тоже страшно. Я бы очень хотела с тобой прожить несколько лет в стиле жизни де Бовуар и Сартра, без налаженного быта, без детей, только в гостинице, в парижских кафе. Только ты бы должен был признавать мне все права, как у них было, и не выдвигать ложь в гуманизм. Мы бы могли так хорошо жить и бороться за лучший мир. Почему не можем?

Я как раз вернулась из цирка. Я очень тронута и горжусь, что сын цирк вовсе не полюбил. Он недоумевал, почему люди должны глотать огонь, к чему такие ужасы, очень дрожал, когда акробат полез на пять стульев. Другие оралы от радости, а он сочувствовал, чтоб акробат упал. Он понимал, что опасно,

но не мог понять красоту опасности. Я себе из люкса при-думываю ужасные приключения. Была плавать в бассейне и плавала час, думая о таких грустных вещах, что в воде расплакалась, но могла спокойно плакать и плавать — никто не замечал.

Я надеялась сегодня, что над всей Европой будет туман и что ты будешь ждать в Женеве в аэропорту и самолет не будут выпускать, ты догадаешься и позвонишь. Я наверно потому так думала, что, когда мы летели в Америку, нас целый день держали, и я позвонила наркоману, но вместо телефонного акта я была принуждена говорить с его подружкой, расплакалась и наговорила ей, что боюсь лететь в самолете. Так мне было грустно уезжать, не совершив греха. Но зато после Америки быстро и срочно выполнила план. Почему у меня был такой вздор в голове и почему себе выбрала именно такого?

Я даже не знаю, почему мне тот текст в журнале не понравился. Был какой-то слишком русский. Помню, что у меня была какая-то зависть, что у них корни есть, а мне остался только космополитизм. А русский язык меня раздражал — такой интеллектуальный. А вроде ничего против не могла иметь, так это еще больше мучило.

Мне сегодня ночью снилось лесбийское приключение — очень сильно. Какие-то две женщины, скорее девушки, я их знаю из феминистических собраний, меня начали соблазнять, одна меня укусила в рот, другая была раздета, потом мы лежали в постели, мне было очень страстно, но их тела были чего-то лишены, а кончилось на том, что муж вошел, и они убежали. Я была этим сном ошеломлена. Было почти, как с тобой, но причем здесь женщины? А днем, когда ждала твоего звонка, мне позвонил наркоман. Сообщил опять, что желает. Я ему сказала, что у меня ныне другие наркотики и что он пропустил возможность, что я не жизненная страховка. Он был в абсолютном изумлении, даже избить меня захотел. Но это неинтересно.

Только что вернулась с демонстрации молодежи. Это была очень интересная динамика. Сначала перед университетом стояло около тысячи подростков, брань, крики, движение, потом прибежал худощавый напряженный молодой мужчина

что-то закричал и вслед появились крики "Демо!" (значит, демонстрация), и сразу целая масса скандирует: "Демо! Демо!", и все начинают двигаться в одно направление. Молодежь одета непривлекательно, серо, иногда в кожаных штанах и куртках, иногда подстрижены почти догола, с платками на лицах, другие свободно показывают лица. Все в руках парней. Они бранят друг друга. Они начинают с лозунгами, расхаживают, как петухи, в них насилие и агрессивность. Девушек около двадцати процентов, они в большинстве подружки парней. Они идут тихо вдвоем или совсем подражают мальчикам, но тех мало. Масса движется. Мне кажется их ужасно много, насилие висит в воздухе. Все больше лозунгов. Приближаемся к тюрьме. Там больше ста человек, арестованных вчера. Лозунги, кулаки, свист, идем дальше. В центре города уже ждут полицейские — их мало, около тридцати, одеты, как средневековые рыцари или как беби, — такие толстенькие. Несколько подростков нервничают, что-то кричат, и масса колеблется, стоит, не знает куда. Несколько мальчиков вооружены палками, и у них шлемы на голове. Но минуту спустя масса опять движется и идет к зданию полиции. Там все темно. Окна опустили жалюзи. Людей в городе нет, в них какой-то ужас. Никто ничего против не говорит, думаю, не смеет. Возвращаемся к университету. Вот и масса распадается, вождь кричит: "В субботу в два часа на площади Клары". Потом садятся на тротуары, на заборы, курят, я ухожу.

Надо ехать в Баварию. Вчера мы сделали экскурсию с одной немецкой парой, и уже давно у меня не было такого отвратительного ощущения праздности жизни. Мы поехали на машине в горы, меня все время тошнило. Немка повластвовала материнскими громкими чувствами, затянула нас в свой профанный мир пикников и географических соображений. Мой муж себе ударил голову, и его тоже стошнило. Мы пришли в течение нескольких часов в абсолютную беспомощность. Должны были есть печенью, она повелевала над сыном, и ее голос беспрерывно сек мне душу. Тошнота мне тоже не помогала, но она была официальное алиби моей угрю-

мости. Моя безнадежная попытка прикоснуться ядра этого человека обрушивалась на ее поток слов — говорила она высоким голосом про слезы, про смерть, про душу, про секс, но все были слова. Я заметила, что я не общительный человек и что неправильные люди — пытка. Я все пробовала привлечь твоего духа, чтобы мне помог, но он разламывался из-за ее присутствия. Ребенок ночью разбудил меня в шесть, и все будил, как я тебя.

Я уже в таком состоянии, что даже мое собственное тело начинает на меня действовать, смотрю я на него твоими глазами. Мне мучительно раздеваться, купаться, все, все мучительно. Сегодня перед сном еще прочту твое письмо. Я сойду в подвал, сяду у стиральной машины на пол, месяц будет светить в окошко. Не бойся, там не страшно.

У меня был на лифте феноменальный разговор с шестилетним мальчиком, который мне рассказывал, как на прошлой неделе нашел дома в кресле мертвого папу. Я потом говорила с его мамой, и та мне подтвердила, что у нее муж застрелился. Мальчик это рассказывал, как криминальный роман. Казалось, что единственное, что его сердит, — полицейские, которые все время что-то ищут в их доме и тоже заботы со страховками и продажей квартиры и другие дела. Я с мамой долго тоже говорила, у нее была тоже невероятная дистанция к этому. Так как были у нее зеркальные очки, глаз не видела, но она все смеялась, хотя говорила, что ночью больше не спит.

Ездили в Падую, где спали, к завтраку на стол поставили банку с золотой рыбкой. Банка круглая, маленькая, а рыбка уже психотична. Все нервно кругом, и кругом страшно было смотреть. А хозяйка — толстая добрая пожилая женщина — с уверенностью сказала, что рыбке хорошо. "Рыбка маленькая и стаканчик маленький. Как раз подходят. Сыплю ей зерника, вот так". Мне было по-итальянски трудно объяснять, что растений нет, воздуха у нее нет, только грязная вода и стекло. Так и ушла, не спасив рыбку, а теперь уже далеко.

Твои звонки меня очень расстраивают. Они такие короткие, как шприц, но я, как наркоманка, не хочу от них оторваться. Я чувствую такую хрупкую воздушную связь, ее лег-

кость меня не поработает, я так счастлива, что, ничего не требуя, получаю. Хотя такие законы всем знакомы, они в конкретном случае какая-то мудрость. Я себе припоминаю определенные сцены и фразы: вот как ты в парке сказал, что тебе со мной хорошо, и я делала вид, что не слышала, и ты должен был повторить. Из-за тебя читаю роман, и там описана ревность, мне все страшнее и страшнее от этой книги, больше всего испугало, как он описывает, как слова уничтожают. Вот слов я боюсь, не твоих, а моих, так как они так быстро приходят и потом навсегда.

Друзья-эмигранты оставили нам детей. В них уже есть что-то мне совсем чужое, хотя я их и люблю, но они мне чужды, и их тела, которыми глазами наслаждаюсь, и их личность. Особенно в девочке есть что-то ужасное, жестокое и узкое и что-то очень женское. Мне страшно смотреть, как оба мальчика ее стучают и унижают. Тем более ее защищаю, но ее и презираю. Вот сын ей угрожал, что позовет полицейского, чтоб тот ее бросил в тюрьму, и она ему ответила: "И потом у вас никто не будет, кого бы могли бить". Ей четыре года. И мои меры воспитания от отчаяния грубые. Царит сила. Как раз (уже полночь) у этого мальчика был какой-то припадок. Он дрожал, куда-то стремился, какие-то страшные звуки из него выходили. Это было невероятно страшно. Меня моя мама сегодня утверждала, что он ненормальный. Я на нее за это ужасно рассердилась, и теперь мне эта фраза повисла в голове. В этом была ужасность жизни, что он такой маленький, напряженный, костлявый так мучится, так боится и именно ему есть чего бояться. Потом сразу успокоился и уснул опять.

Я приехала из Вены не замечая ничего, не вслушиваясь в разговоры. Дома меня ожидала мышь, — как я и боялась. На кухне была вонь, и я слышала, как скребет мышь. Мне было так отвратительно. Вспомнила про Сартра, что через отвращение ощущаешь существование. Но это существование было голое, как смерть. Вставила затычки в уши и легла спать. Проснулась больной, потеряла голос. К обеду поймала мышь и беспощадно подбросила коту, но тот ее не тронул. Здешние коты, очевидно, не знают мышей, и мыши не знают их, так как моя мышка очень доверчиво пошла его онохи-

вать, и он был от этого в изумлении. Сын так и сказал: "Ви-дишь, мама, кошки не едят мышей". Твоя сдержанность в Вене мне опять больно напомнила твой характер; я год назад точно в таком депрессивном состоянии уезжала из Мюнхена, после того как не сумела соблазнить наркомана.

Возлюбленный, я так несчастна с тех пор, как ты мне позвонил. Хочу за тобой поехать, только боюсь, что ты мне не позволишь. Помнишь, тот венгр, который прыгнул в окно и месяц назад вернулся в Будапешт, теперь бросился там под поезд и окончательно умер. Когда сказали, я испугалась, что и ты бы мог умереть. Самое страшное, как он в этот раз это аккуратно сделал. Купил билет в ближайший городок, поехал поездом, сошел, пошел назад в туннель и там подождал поезд. Как ему должно было быть страшно, как он ведь должен был бояться, что больно будет, не думаешь? И представление своего трупа, как он мог это выдержать. Вот этого испугалась, что, может, я тебе что-то плохого сказала, так как и в него не вслушалась. Так и чувствую себя частично виноватой, что тот так brutally умер. Ведь если б выпил таблетки, это еще понятно. Хочу с тобой. Я сама стараюсь спастись, чтобы меня эта любовь не разрушала, чтоб я могла жить, а не все время умирать, поэтому стараюсь у нее отнимать значения и брать ее легкими руками. Я так не хотела тебя опечалить, уже так боюсь тебе писать, зачем ты такой темный человек? Когда ты исчез с поездом, я успокоилась, как вылечившийся наркоман. Зашла на себя посмотреть в туалет, у меня было чувство некрасивого лица, усохшего, нечистой кожи, и так и было. Когда я твоему озлоблению извинялась, только из-за того, что тебе причинила боль и из-за того, что никогда не хотела убивать самое дорогое и мою единственную трансценденцию. Как может кто-то захотеть убить суть своего существования? Только когда ее потеряет, может и от существования отказаться и в этом надеяться ее опять найти. Ты лучше не звони. Когда звонишь, заражаешь меня вне цикла, все гормональное хозяйство в течение секунды разрушается и начинается хаос, который меня и морально и физически разлагает. Я тебя подозреваю, что себе

"американскую обиду" придумал, чтобы у тебя было оправдание для какой-то твоей любовьнеспособности. Ты все думаешь, что любовь то, что тебе надо, что соответствует твоему вкусу, что не ломает рамки твоего мира. Я тебя в этом отношении считаю незрелым. Я, конечно, в поступке с американцем тоже оказалась незрелой. Очень рада, что связаны только свободой. После звонка. Точно, как и ожидала, меня облила волна отчаяния, но я переплыла ее и теперь осталась только мокрой. Мои собственные поступки из вчерашнего дня больше неправда, поэтому не можешь меня винить за давние, я только сегодня. И еще раз к американцу. Это было, кроме эксперимента и знания, что все обречено на эпизод, как сказано в сказке: пойдешь налево — худо будет, пойдешь направо — еще хуже. И пошла направо. Все было вне настоящего. Только театр, жажда играть роль в пьесе о разврате. Совсем вне меня. Поэтому рассказывала, как пьесу, еще и с бурей. Настолько все банально, что, как в дешевых романах, и странно, что я режиссер и что это моя жизнь. Во всем ничего оригинального, наверно, поэтому ты меня и разлюбил. Но рассказала не чтоб тебя мучить, а чтоб ты со мной порадовался, что такой у меня был выбор, точно, как я тебе все другое говорю и тебе интересно.

Доктор произвел на меня длительное впечатление. Он настоящий клоун гороховый. Я теперь поняла, значит, окончательный циник. Он детерминист, в этом есть что-то божье в нем, как у горохового. Он не борется, героев с души презирает, их мужество для него наивность, он ведь знает, что все это ни к чему, что скоро война будет и всюду коммунизм. И ему все равно. Его все это интересует только как научное, только как Бога, мол посмотрим, как все выйдет, хотя это неправильно сказано, он ведь знает, как будет. Узкие азиатские глазки сверкают. Публика у нас давно такое не видела. Для всех было понятно — это монголы, у них другие масштабы, но хотя Доктор это и говорил, не от этих его слов это пошло, а от него самого. Это была психодрама. Когда-то в половине спектакля внезапно сбросил маску идеолога и начал играть самого себя. Разыграл всю диалектику. Ты мне

с разумом, я тебе с сердцем, ты про статистику, а я символом. Говорил, как святой пророк. Мы сидели на подиуме — пятеро, внизу в темноте треста человек, и я в эту темноту говорила его немецкие фразы, как "третья мировая война неизбежна", и чувствовала, как все замирают. Я чувствовала, что все мы накануне погрома, и все-таки в этом было удовольствие театральности. А он после спектакля был, очевидно, веселым.

Если не сочтешь безвкусным, у меня еще одно оправдание. Факт, что тебе рассказала эту историю, взошел от чувства, что я все еще ребенок и все мне разрешено, от автоматизма — так всегда делала, привыкла, и тоже от чувства риска. Я так привыкла рассказывать такие эпизоды, что не могла сдержаться. И знаю, что не рассказала бы у озера, рассказала бы позже, в гораздо более невыгодных обстоятельствах. Должна была рискнуть и узнать, что случится. Все было уже в нашей судьбе сложено. Только вопрос времени и выгодного случая. Если на это так посмотришь, еще выгодно вышло, не разлюбил совсем и не так ужасно все. Я не могу до глубины понять твоей реакции, и ты не можешь моего поступка. Это печально, да? это раскол? Мне кажется, как будто я жила со слонами и встретила жука.

У моей коллеги уже тринадцать лет любовь к ее бывшему психиатру, шестидесятитрехлетнему старику, который на ее новую книгу стихов, написанных для него, только сухо ответил: "очень по-дружески". Но это была, кажется, самая сильная фраза, которую она получила от него в течение последних лет. Пришла вчера попросить меня идти на его лекцию в университете. Выкурила при этом уйму сигарет, и ее лицо, как у мальчика, было в других сферах. Она знает про безнадежность этой любви, которая мне напоминает мою первую любовь с тринадцати до пятнадцати, когда я его два года не видела и каждый день, каждое утро надеялась случайно встретить. Всегда волновалась про свою внешность и была даже благодарна случаю, что его не встретила, будучи такой непривлекательной. Так его и не встретила. Она точно так,

сама не смеет идти на лекцию и просит меня. Ни слова не проронила, а только про старикашку. Она мне, думаю, напомнила тебя, а не себя в ее безумии.

Страданье мое, мне так больно от тебя, и каждое утро пробуждаюсь с чувством ужаса и, просыпаясь, только его чувствую и еще не знаю его причину, лишь ощущение чего-то страшного, и потом прихожу в себя. И чем мне больнее, тем нежнее тебя люблю и так люблю, что умереть хочу.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ АГЕНТСТВО ИНТЕРЕСУЕТСЯ

русскими рукописями на следующие темы:

1. Социально-философская и историческая мысль России.
2. Запад глазами новоприбывших из СССР.
3. Религия. Демократия. Национализм.
4. Споры вокруг развития культуры в СССР.
5. Советские методы исторической и литературной фальсификации.

Писать: **John Blake Literary Agency 5040 Bruhl.**
Postfach 1663 West Germany

Григорий Свирский НА ЛОБНОМ МЕСТЕ

(ЛИТЕРАТУРА НРАВСТВЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 1946-1976 гг.)

Эта книга, с исключительно яркой, полемически острой манерой письма, есть в первую очередь и с л е д о в а н и е послевоенной литературы. Причем, несомненно, исследование событийного значения. Г. Свирский вдумчиво, проникновенно «читает» официально изданные произведения В Некрасова, В. Пановой, Д. Гранина, В. Гроссмана, В. Дудинцева, В. Тендрякова и др. ...И оказывается, что каждый из них открыл какую-нибудь из проблем эпохи, показал ту или иную сторону советского действительного бытия. Попутно автор снимает с пласта настоящей литературы шелуху обвинений в постоянных уступках и компромиссах с властями, в иллюстративности партийно-правительственных решений.

Захватывающе интересны страницы, посвященные творчеству и личностям Ахматовой. Паустовского, Эренбурга, Солженицына, авторам самиздата, бардам «магнитофонной революции, историческому значению журнала Твардовского «Новый мир».

«На лобном месте» — одновременно и мемуарные записки современника. Обладая незаурядными памятью и талантом, Г. Свирский воспроизводит атмосферу литературной жизни России сталинского, хрущевского и брежневского периодов «Он передает разговоры вокруг каждого литературного события, — пишет в предисловии к книге проф. Е. Эткинд, — а порой и необходимые для «живого контекста» анекдоты, эпиграммы, даже слухи». Отмечая далее, что в истории литературы часто пропадают атмосферные явления, окружающие писателей и их книги, проф. Эткинд заключает «благодаря Смирновой, Панаевой, Никитенке, Гречу мы знаем кое-что о литературной жизни прошлого века. Благодаря Свирскому останется в памяти атмосфера послевоенного тридцатилетия».

С познавательной точки зрения, книга представляет несомненный интерес как для массового читателя, так и для славистов, изучающих современную русскую литературу

Англия 1979. 620 стр Мягк. пер. ДМ 40 — Те. пер ДМ48 —

Пересылка за счет заказчика

Тоебуйте бесплатно наш большой каталог 1979/80



A. Neimanis • Buchvertrieb GmbH
8 München 40 • Bauerstr. 28 • Germany

Тел 37-05-34



Илья СУСЛОВ

ЗА ПИВОМ

Кири́н жених служил в армии. Он был доктором в армейском лагере. Ему было там очень трудно, он скучал по Кире. И она иногда выбиралась к нему на несколько дней, чтобы скрасить его тоскливую жизнь.

Воинская часть, где он служил, расположилась в Семи-сбруйске — захолустном и захудалом городке, куда нужно было добираться на двух поездах, один страшнее другого, потом на попутном автобусе, потом на машине, а потом опять на поезде, который останавливался на станции ровно на пять минут. Это была такая глухомань, что здесь даже не было теток, приходящих к поезду, чтобы продать соленые огурцы из ведра с рассолом, или отварной холодной картошки, как это иногда еще случалось на других станциях.

Кира тоже была доктором. Она очень любила своего жениха, которого отправили после института черт знает куда, за кудыкину гору, и теперь нужно было использовать весь блат и все знакомства, чтобы вырвать его оттуда и перевести куда-нибудь поближе. И не оставлять же его там одного с этими солдафонами и их женами, живущими в военном го-

родке. Там же просто свихнуться можно. И что он там ест, в Семисбруйске, который даже на карте области почти не виден, о каких же продуктах там может идти речь? Наживет еще язву желудка, бедненький...

Кира смотрела в окно поезда и думала о своем женихе. Вот он входит в свою медицинскую часть — такой высокий, красивый, — командует что-то дежурной сестре и идет к больным. Потом — операция. Потом политзанятия. Потом он идет домой, в свою комнату в военном городке и думает о Кире. И так день за днем. Удавиться можно. Кире так жалко было своего жениха, что она немножко заплакала, отвернувшись к окну, чтобы никто не заметил.

А дорога все тянулась и тянулась, пассажиры — колхозницы и рабочие местных заводов — храпели на разные голоса, вагон весь провонял каким-то застарелым, острым запахом общежития или еще чего-то, чему Кира даже не могла дать названия, за окном стояла серая промозглая полутьма, и одно только грело душу, что скоро, ну еще чуть-чуть — и она увидит своего жениха. Она давала ему всякие прозвища: "мальчик", "милый мой", "рыбочка моя"... "лапуленька"... и на душе ее становилось теплее.

Мужчины, проходившие сквозь вагон, косили на нее взглядом. Кира и сама знала, как она красива, потому что все на улице на нее оглядывались и восхищенно цокали языками. Ее сравнивали сразу с Софи Лорен и Одри Хепберн, и действительно она походила на них обеих. А так как она была влюблена, то из глаз ее исходило особое сияние, делавшее ее совсем уж неотразимой. И она это чувствовала каждой клеточкой. Счастливые всегда красивые.

Контролер крикнул: "Следующая Семисбруйск! Поторопитесь, граждане!"

Кира выпрыгнула из вагона, и Игорь сразу подхватил ее, прижал к своей гимнастерке и никак не мог отпустить. Люди на станции смеялись и говорили всякие слова, но они как бы погрузились друг в друга и ничего не слышали.

— Во дают! — говорили люди.

— Эй, офицер, чаво уткнулси-то, дай другим подержаться!

— В общем... эта... кончайте, в общем.. неловко вить, не дома на печке...

Утром Игорь уходил на работу, а Кира оставалась в комнате. Она прибиралась, стелила кровать, читала книжку и ждала Игоря. Они никак не могли наговориться. Вернее, это она говорила, говорила, говорила, а он слушал, попыхивая трубкой, и все смотрел на нее.

Потом она решила сделать ему сюрприз. Она считала, что близкие люди должны всегда удивлять друг друга: это залог долгой жизни. Если ты еще обладаешь способностью удивляться поступкам любимого человека, то, значит, ты еще любишь. Так она думала. Только чем можно удивить Игоря здесь в Семисбруйске? Она уже была в местном магазине, где на прилавке лежало два черных капустных кочана, облепленных огромными мухами, а на полке стояли две бутылки портвейна "33", пыльные, с едва читаемой этикеткой, и водка, за которой то и дело заглядывали местные жители. Вообще у Киры сложилось впечатление, что жители Семисбруйска только и делают, что пьют водку, теплую, пахучую, мутную. Они тащили в магазин пустые бутылки и доплачивали за полную. И разговоры все были только о водке. Даже среди офицеров, товарищей Игоря. Вообще Кире раньше не приходилось видеть таких людей. Ей казалось, что они и не русские вовсе: настолько их язык был убог и исковеркан, а лица — особенно у мужчин и детей — обезображены, отмечены печатью вырождения. Наверно, от скудной пищи и постоянного пьянства, от отсутствия каких бы то ни было человеческих интересов.

Когда она шла к магазину или проходила по улице, то все останавливались и провожали ее долгим взглядом. Она решительно ничем не напоминала местных людей — ни одеждой, ни кожей, ни цветом глаз. И сразу возникали разговоры, чаще всего состоящие из междометий, смысл которых она часто не понимала, потому что это был одновременно и русский и нерусский язык.

— Во баба! Откель такая?

— Небось с самого Калинина.

— Эх, такую бы...

— Пошел ты... Куды тебе, у тебя и струменту такого нету...

— Гы...

— Не русская, что ль?

— Татарка, наверно, а может, грузинка... Я раз грузинку видал в Клину...

— Деушка, не хотите с нами выпить-закусить? И закусточка есть...

— Во дает!..

И желтый лошадиный оскал. И щетинистая грязная щека. И ржавого цвета короткие руки с обломанными ногтями. И бутылки, выглядывающие из всех карманов.

Кира не боялась этих людей. Она, конечно, не видела их в Москве, потому что они начинали работу раньше, до того как выходили на улицы служащие, и кончали раньше, разъезжаясь по своим окраинам, да в Москве они уже другие: питание получше. А здесь было впечатление, что никто и не работает, а как встает, выпивает свою первую да так и присыхает к завалинке или просто ложится на улице, пока не подойдет очередь следующей бутылки...

"Чем же мне его удивить?"— думала Кира. "А вот чем: помнится, что сказал он, что выпил бы пива, да где его здесь достать?"

А Кира знала, что раз в двое суток мимо станции проходит пассажирский поезд Калинин-Кисловодск с вагоном-рестораном. В ресторане должно быть пиво. А до станции всего три километра. Вот и сюрприз. "Откуда это?" — спросит он. "Откуда это чудо?" А она только улыбнется и будет смотреть, как он пьет большими глотками коричневую пенистую горечь.

И, проводив Игоря утром на работу, Кира отправилась на станцию за пивом.

Она шла мимо убогих покосившихся изб, и женщины, совсем другие, как бы сошедшие с полотен передвижников, долго и удивленно смотрели ей вслед. Она шла мимо офицерского магазина, где можно было достать совсем уж невиданные для этих мест вещи и продукты, но которые нельзя было даже сравнивать с теми, что можно было купить в Москве, и потому ни о каком "сюрпризе" для Игоря здесь нельзя было и подумать. Она шла мимо завода электрических изоляторов, где трудилось мужское и женское, конечно, население

ние Семисбруйска. У проходной толпились мужчины, отпускавшие свои добродушные грубые шуточки по ее адресу. Улица кончилась, и Кира вышла на природу.

"Ах сколько слов выплеснуто литературой по поводу русской природы! Сколько полотен обращено в суть ее, сколько поэм сложено в ее честь! Как передать ее краски, ее сочность и блеклость, и чуть замутненную синеву ее неба, и выгоревшую неяркость ее травы, и неожиданно пронзительную синь придорожных васильков? Березы, шуршащие на ветру, сосны. Почему-то природа вызывает к жизни прилагательные. Прилагательные имеют способность приукрашивать жизнь, которая без них становится строже, правдивее и глубже. И метафоры только сбивают с толку. Они рисуют природу масляными красками, отчего она становится как бы филиалом картинной галереи, "Море — смеялось". Красиво. Но бездушно. "Величавые сосны". Оскомина от этих "величавых". А как? Как передать на листе бумаги словами все эти запахи, цвет, птичьи трели и цоканье, пыль от полуторки, облако в небе? Ничто не изменилось в природе. И те же чувства охватывали приезжих в Семисбруйске и сто лет назад. Вот только люди, наверно, изменились. Или нет? Они и тогда были такими же грубыми, дикими, пьяными? Или действительно можно изменить человека за пятьдесят-шестьдесят лет? А природа — как печально озирает она внутренним оком копошащегося человека, утратившего близость к ней самой, озабоченного одним — даже не выжить, нет, — прожить! Прожить отпущенное, пусть в нищете, в водочном дурмане, в безобразии, в уродливости, которой он сам не понимает, но к которой привык, как горбун к своему несчастью. И некому показать пальцем на всю чудовищность его бытия. И лишь природа — барометр всему живому, — меняясь от зимы к осени, остается неизменной и вдыхает в тебя силы и ощущение чего-то вечного, непреходящего...

И небо это, и трава, и желтые хлеба, подступившие к городу, и лесок на горизонте, и трель в воздухе".

Так думала Кира, вышагивая в своих джинсах по дороге на станцию. И еще она думала об Игоре, о своей диссертации, о веселых московских друзьях, о стене, которой она и ее круг

отгорожены от Семисбруйска, от России, от всего этого, чужого и непонятного ей, о природе, которая одинаково прекрасна по обе стороны этой невидимой баррикады...

На станции спали на лавках мешочницы и ленивый милиционер иногда подталкивал их, говоря: "Ну чего разлеглась, не полагается. Дома иди спи, а здесь — государственный вокзал, спать не положено". Тетки просыпались, садились на лавку, хлопали сонными глазами и через секунду снова засыпали, уставшие от ожидания и тяжелой работы.

Среди них был и я. Как меня занесло на эту забытую Богом станцию? Да те же репортерские будни. Один молодежный журнал дал мне командировку для сбора материалов для очерка "Застрельщики нового". Я должен был объехать разные заводы и фабрики в такой вот глухой провинции и поговорить с начальством и рабочими, получить от парткома какого-нибудь "передовика" и рассказать за него дурацкую выдуманную историю его "застрельничества". Я давно набил руку на такого рода "производственных очерках" и быстро писал серые кирпичики слов в свой блокнот, а "застрельщик" томился, пока я наговаривал ему написанную белиберду, вроде "мы долго думали с товарищами по бригаде над словами Леонида Ильича Брежнева, обращенными к нам с трибуны Шестого (июньского) пленума Центрального Комитета родной Коммунистической партии. Мы хотели со всей ответственностью подойти к досрочному выполнению второго года седьмой пятилетки. И с помощью партийного бюро и лично Веры Гавриловны Сушкиной мы..." Ну и так далее. И семисбруйский завод электроизоляторов был в ряду других, где привыкшие к журналистам партначальники тут же подсовывали мне своего "новатора", тоже набившего руку на общении со столичными и местными газетчиками. Это было так скучно: ты врешь, что спрашиваешь его, а он врет, что отвечает. Потом начальство завода врет, что радо продемонстрировать советским читателям свою продукцию и лучших людей. Потом редактор врет, что ему нравится написанная тобой белиберда, которую даже стыдно показывать нормальному человеку, и выписывает тебе гонорар — рублей че-

тыреста, на которые ты можешь три месяца жить, если, конечно, не пропьешь его с друзьями от ненависти и неудовлетворенности.

И тут я увидел Киру. Я отвык уже от простых человеческих лиц за эти две недели, проведенные в командировке, а это лицо было не обычное, она шла по залу ожидания, как... ну где эти паршивые метафоры и сравнения? Куда они исчезают в нужный момент? Шла, как кто? Как капля меда в бочке дегтя? Глупо. Как солнечный луч в кромешной мгле? Штамп. Да и не ходят никуда солнечные лучи. Украду метафору у классиков: она шла по залу ожидания, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты, вот как она шла. Я даже зажмурился. И бабы на лавках тоже проснулись и, глядя на нее, никак не могли понять, действительно ли они проснулись, или это им снится, хотя откуда же у них могут быть такие сны, они такого никогда и не видели. И мильтон остановился и вытарачил свои белесые зенки на эту смесь Хепберн и Лорен. И ханурики в синих плащах и тельняшках, распивавшие водку из кружек из-под пива, так и застыли у своего столика, уронив челюсти на грудь, И никто даже не выругался матерно, и лишь кто-то сказал:

— Во дает!..

И я пошел ей навстречу, спрашивая ее, не из Калинина ли она, и надолго ли она приехала в Семисбруйск, и что она вообще делает здесь, и где же я ее видел раньше, и еще какие-то глупости, и никак не мог оторвать от нее глаз.

Она смеялась и рассказывала мне про жениха Игоря, про военный городок, про магазин с мухами на портвейне, про природу, про сюрпризное пиво из поезда Калинин-Кисловодск. И я никак не мог на нее насмотреться. И голос у нее был мягкий и нежный. Я так завидовал этому Игорю, что у меня даже остановилось дыхание. А когда я представлял, что она ложится с ним в кровать, то боль прокалывала мне сердце и я просто умирал. А какое, собственно, право я имел на все эти сложные чувства? Я и видел ее всего полчаса в моей жизни. Ведь я ждал здесь тот самый поезд в Калинин, потому что очередной "застрельщик" уже дожидался меня на полиграфиче-

ческом комбинате, знатный наборщик, в галстук и чистой рубашке по случаю приезда московского журналиста, выбритый и насквозь пропахший тройным одеколоном. Рядом за столиком в партбюро будет сидеть ласково улыбающаяся секретарь партбюро, готовая немедленно исправить любую оплошность нашего клиента-передовика, похожая на Фурцеву. Почему-то все секретари партбюро больших предприятий похожи на Фурцеву — такие симпатичные стареющие дамы в хороших костюмах. Ну зачем они мне, Господи?

И вот уже задымилось на горизонте. Поезд идет. Неужели все? Дайте телефончик, Кира.

— А зачем? Я же почти замужем.

— А вдруг у вас все сорвется...

Она смеется. Подошел поезд. Мы рванули к вагону-ресторану. Ступенька оказалась слишком высоко, ей не достать. И я, Боже ты мой, Боже ты мой! подсаживаю ее, цепляюсь сам.

— Дайте телефон, Кира...

— Не надо, — говорит она, — ну что это с вами?

— Мамаля, — говорю я официантке, — быстренько, пожалуйста, пиво для доктора.

— Хватился, — говорит официантка, — пива уж четвертый месяц не подвозят. Возьми сидро, теплое правда.

— Найди, мамаля, — говорю я. — Пятерку за бутылку. Одну бутылку. Очень надо.

— Ты уж совсем! — говорит официантка. — Скажи еще воблы тебе принести! Ну как с луны сорвались! Вроде как не родные. Надо по-русски понимать: нету, значит — нету.

На буфете висит сделанная от руки надпись: "Пиво вся".

Все. Нет сюрприза. Кира сходит с поезда и идет обратно в Семиструйск.

А я остаюсь в поезде. "Пиво вся, пиво вся", — стучат колеса.

ПО ДОРОГЕ НА ЯРМАРКУ

Бессонными ночами в Москве я думал, что будет со мной на Западе? Кто я? Что я умею? Кому нужен еще один русский журналист? А потом мне приснился сон, что все эти вопросы не имеют никакого значения. Кем буду, тем буду. Неважно. Если у меня есть голова, то что-нибудь еще случится. Нет головы — пиши пропало. Зато я увижу мир. Зато я уйду отсюда и уведу с собой весь мой род. Потому что больше я там не могу жить. Я дошел там до такой ненависти и до такого душевного равнодушия, что мне было все равно — жить или умереть. Кстати, я считаю это состояние единственно правильным для потенциального эмигранта. Если человек до этого дошел, он как бы умирает в своей прошлой жизни, и каждый день в эмиграции считает праздником: Бог отпустил ему, умершему, лишнее время жизни. С этого момента — живи и радуйся. Но почему мы часто встречаем недовольных эмигрантов? Они уехали чуть преждевременно, не успев пережить состояние "хоть живи, хоть умирай". Поэтому они часто обращаются в мечтах к своей старой жизни, где они, как им кажется, жили по-настоящему. А я уже не жил. Я прожил.

И я улетел из России с легким сердцем. Я был никем. Я был свободен. Я мог все начать сначала. И я ничего не боялся. И каждый новый день я встречал песней. Я тогда не знал американских песен, поэтому я по утрам пел советские. И русские. И песни моих друзей. "Красотки, вот и мы, кавалергарды!" — пел я. "Наши палаши — чудо хороши! Ужасны мы в бою, как леопарды!.." Или: "Мы похоронены где-то под Нарвой, под Нарвой, под Нарвой..." И в этом не было ничего кошунственного. Я тоже был похоронен там. А потом выжил: эмигрировал...

Ну хватит о грустном! Что это я? Вы не забыли, я ведь все начинаю сначала. В Америку, друзья, в Америку! Мы едем покорять дикий Запад! Где моя ковбойка, синие залатанные джинсы, ковбойская шляпа, желтые скрипящие сапожки со

шпорами? Я молод, строен, загорел. Я весел, черт возьми!

— Джек! Научи меня строить дома. Хочу быть строителем.

— Не могу, дружок. У нас сейчас плохое время. Потерпи, потом еще что-нибудь будет. Америка поправится. Она всегда поправляется. Потерпи.

Я терпеливый. Что-нибудь еще будет. Когда я был мальчиком, я видел оперетту "Моя гюзель". Оперетта была глупая. Но там была сценка, которую я запомнил на всю жизнь. Она и сейчас у меня перед глазами. Представьте себе сцену с желтым потрепанным задником. Он изображает пустыню. На сцене сидит артист Ярон, одетый в узбекский халат и загримированный стариком. Старик узбек поет песенку:

Другой бы умер от тоски,
Ведь здесь кругом пески, пески,
И досыта никак нельзя напиться.
А я сижу и не ворчу
И непременно знать хочу,
Что на земле еще случится?

И странное дело! Эта песенка стала моим жизненным девизом. Я знал, что что-то еще случится в моей жизни. Что-то произойдет! Я не мог тогда представить себе, что уеду навсегда из моей страны, из моей Москвы, но я знал, что должен выжить, несмотря на мою тоску, несмотря на сталинские пески, несмотря на то что всегда не хватало чего-то для души, а так хотелось напиться! Чистой воды правды, например. Что-то должно случиться!

Свою первую американскую работу я нашел в Кливлендском автомобильном музее. Один богатый американец всю свою жизнь собирал старые машины. У него их были сотни. Самые первые модели со всего мира. Он построил себе музей, а потом подарил его городу. Это чудо какой музей! И я там читал лекцию о жизни в России. Моим переводчиком был миллионер. Моими слушателями были члены Торговой палаты штата Огайо. Это было ежегодное собрание этой Палаты с банкетом в автомобильном музее. Все мы были в смокингах, в галстуках-бабочках. И я рассказывал им, что с ними

будет, когда здесь произойдет революция. Я тогда боялся, что американцы такие беспечные, что они обязательно проворонят революцию. Всем новеньким так кажется.

Когда я кончил, мне долго хлопали, подходили взять автограф. Один дядька просто глаз с меня не спускал. Очень я ему был приятен. Он все спрашивал насчет Солженицына и чешских событий. Мы стояли с ним с бокалами шампанского в руках и вели тихую интеллектуальную беседу.

Потом я ему сказал:

— А как насчет работы, сэр? Очень я интересуюсь этим вопросом.

— Но праблем! — сказал он. — Завтра прошу быть у меня в семь утра.

И дал мне свою визитку.

Он оказался хозяином огромного мебельного магазина в центре города. Ровно в семь утра я был там. Я думал, что это не так уж плохо — продавать мебель. Я только не знал, как я сумею объясниться с покупателями. По-английски я знал лишь "хай", "гуд бай" и "ай лав ю". Но мне казалось, что этого достаточно. Войдет покупатель, я скажу ему "хай", он купит гарнитур, я скажу ему "ай лав ю", а когда он будет уходить, я вежливо скажу ему "гуд-бай". Верно?

Мой хозяин отвел меня на склад и сказал, чтобы я перетащил вон тот буфет вот сюда. А потом вот тот черный мальчик объяснит мне, куда что надо двигать. Два десять в час. Гуд лак.

И я стал грузчиком в мебельном магазине. "Бедняжка — вздохнет читатель, — как ему трудно пришлось! Такой интеллигентный писатель, немолодой человек! Упасть так низко: из "Литературной газеты" — в грузчики! Черный мальчик им командует! Два десять в час! Кошмар!"

Да нет же! Это было замечательно! Это было новое! Это было приключение в моей жизни! Я ни секунды не сомневался, что это начало. Что там еще что-то будет! И я не ненавидел моего хозяина, потому что он был прав! Какую работу он мог мне предложить, тупому иностранцу, который глуп настолько, что даже по-английски не говорит. Его грузчик Джон, на что уж тупой и вороватый, и то говорит по-английски! А

этот только улыбается и думает о своих таинственных русских делах. Бизнес есть бизнес!

И я был ему благодарен! Я начал не только жить в Америке, но и работать! И приносить домой свои заработанные деньги! Я так наловчился двигать все эти диваны, софы и буфеты, что любо было глядеть! И язык мой пошел вверх: я уже мог матюгаться по-английски и знал весь черный сленг. У меня даже появилась специфическая негритянская интонация. "Э, мэн!" — обращался я к покупателям. Это мой босс, шестнадцатилетний Джон меня подучил.

Через несколько месяцев я узнал, что некая фирма набирает технических переводчиков: надо было переводить на русский язык техническую документацию и чертежи одной компании, которая продала Советскому Союзу сталелитейный завод. Я тогда еще не забыл русский язык и попросился туда на работу. Три пятьдесят в час. Сиди себе, переводи, ничего грузить не надо.

— Э, мэн, передай мне ластик, я тут вместо "болт" написал "гайка".

На какой-то парти я встретил хозяина той компании, которая продала рецепт своей стали Советскому Союзу.

— Сэр, — сказал я ему, — эта сталь обрушится на голову ваших детей. Они же сделают из нее ракеты и танки.

Он испуганно посмотрел на меня и сказал, что ничего подобного у них в договоре не написано, что сталь пойдет на тракторы. "Э, мэн, — сказал я, — ком ан!" Видите, как далеко я зашел в своем английском! И было как-то противно работать на этот детант по-американски. Все время снился Ленин со своей знаменитой веревкой, которую ему продадут капиталисты, на которой их же повесят.

И тут я вспомнил, что я инженер-полиграфист! Ну как же, а кто был начальником цехов в типографии "Детская книга" в Марьиной Роще в те далекие пятидесятые годы? Не знаете? Так я вам скажу: я! Кто умел выполнять план досрочно и получать красное переходящее знамя? — Я, конечно.

И я пошел устраиваться начальником цеха в американскую типографию.

Надо сказать, что в мое время советская полиграфия от-

ставала от нормальной примерно на восемьдесят лет. А в этой, куда я пришел, стояли машины двадцать первого века. Я быстро подсчитал и понял, что мои знания отстают примерно на двести двадцать лет!

— Да я тебе любой план вышибу! — бормотал я хозяину, который мне показывал свою типографию.

— Нету у нас никакого плана, — сказал хозяин. — Так что и вышибать нечего.

Вот это номер! Как же они работают, бедняги? Без плана? Что ж тогда делать начальникам цехов?

— А у нас и начальников цехов нету, — сказал хозяин. — Что за мода такая, — разводить бездельников?

И я стал подсобным рабочим. Я стал придатком машины, которая сгибала и резала печатные листы. Я должен был отсчитать пятьдесят штук, снять их с машины, связать под прессом и поставить в стеллаж. И так — восемь часов в день. Три пятьдесят в час. Я работал как угорелый! Эта проклятая машина никогда не ломалась! Она работала! Она работает — и я работаю! Вот если бы она сломалась, тогда бы я немного отдохнул! А она не ломается! Вот эксплуататоры! Выжимают из рабочего класса все соки! Где профсоюз? Нету никакого профсоюза. Не нравится — иди домой. К слову сказать, при профсоюзе эта машина тоже не ломается.

Мой английский резко пошел вниз. С кем разговаривать, когда ты должен восемь часов как заведенный подхватывать то, что выплонула из себя та проклятая машина! Я даже забыл мои "хай", "гуд-бай" и "ай лав ю"! Надо добавить, что от этой типографии до моего дома было миль сорок. И надо было ехать на машине полтора часа туда и полтора обратно! А мои права я получил только в тот день, когда приступил к работе! Четыре раза я сдавал этот проклятый тест. То есть устный экзамен я сдал с первого раза, потому что перевел всю эту книжку и знал, о чем там идет речь. Но езда!

Когда инспектор первый раз сел ко мне в машину, я ласково улыбнулся и попытался воздействовать на него психологически. Я смотрел на него, улыбаясь во весь рот, чтобы он понял, что я свой парень, не бойся меня, мэн, я же, как ты, даже лучше. Но машина моя в это время почему-то под-

прыгнула в воздух и поехала назад. Инспектор сказал: "Ит'с инав!" — и вышел из машины.

Второй раз я плавно выехал, повернул куда надо, а этот хитрец инспектор вдруг сказал: "Стоп". Я дисциплинированно остановился, а оказалось, что в этом месте останавливаться нельзя! Вот зараза! На третий раз я не остановился, но захотел ему показать, как быстро я умею ездить. А в том месте было написано: "Скорость 25 миль". Ну а в четвертый раз я все же сдал и поехал работать в типографию.

Потом я стал находить у себя в кармане листовки. Я думаю, что мне их подсовывала тетка-мастер. Она здорово работала, но учить меня не хотела. Что-то во мне ей не нравилось. И сколько я ей не улыбался на манер Чарли Чаплина, она никак не отвечала мне взаимностью. А тут еще эти листовки. Там было сказано, что белые люди должны объединиться и дать по мозгам неграм и евреям. Что белым надо сохранить их расу, а то черные победят и раса почернеет. Или объеврется, что для них то же самое. Я все думал, чего они мне это подсовывают? А потом понял: я же еврей! Так это они, выходит, против меня! Ах вы, нацисты проклятые! Сниму с работы! Это что такое!

Я пошел к хозяину. Он тоже был евреем. Я его попросил принять меры. Он сказал, что эта тетка — замечательная работница, а у нас в Америке — свобода слова и убеждений. Я сказал, что она нас зарежет. Он сказал, что когда зарежет, тогда и поговорим. Я сказал, что если еще раз найду такую листовку у себя в пальто, то ухудшу этой тетке расу где-нибудь в темном местечке, чтобы знала, как нас обижать. Он сказал, что в этом случае ему придется вызвать полицию. Так мы с ним и не сошлись во взглядах. И я решил от него уйти. Потому что я устал. Такая работа мне уже была не по годам. Потому что тогда я уже начал писать мои истории. И для сна у меня не было времени. Устал я, братцы.

И я решил уйти в бизнес. В чужой бизнес. То есть я решил стать продавцом. Продавец должен говорить с покупателями. На каком языке? На английском. Вот мне и школа. Куда пойти? Неподалеку от моего дома был огромный торговый центр. Там был большой универсальный магазин "Хигби". Я пошел

в отдел кадров и сказал начальнику: "Я не говорю по-английски. Но я очень вежлив. И еще я умею улыбаться".

Эти фразы я отрепетировал дома по-английски. Начальник засмеялся и спросил, что я знаю о дайамонтс? Я не знал, что такое дайамонтс, но сказал, что в этом-то я все понимаю. "Будете торговать дайамонтс", — сказал начальник. И я стал продавцом бриллиантов. Оказалось, что "дайамонтс" по-английски "бриллианты". Прошу тех, кто еще не говорит по-английски, запомнить это слово. Так что, читая эту историю, вы сочетаете приятное с полезным: вот вам урок английского. Я поучился дня три обращению с чеками и кассовым аппаратом и встал за прилавок.

Разве это не удивительно? Если бы мне в Москве кто-нибудь сказал, что я буду чем-то торговать, я бы рассмеялся ему прямо в бесстыжие его глаза. А здесь я принял душ, одел чистый костюм, повязал галстук, побрился, такой молоденький, симпатичный, лощеный, европейский (до Урала, конечно), где-то загадочный, ироничный, знаете ли... Ну и где же мои покупатели, с которыми я буду оттачивать свой английский? Нету покупателей. Все проходят мимо. "Мей ай хелп ю, мэм?" "Но, ай эм джаст лукин". Знакомо? За два дня я едва ли сказал два слова! Так не годится. Надо что-то придумать. В моем отделе продавались не только бриллианты, как вы понимаете, но и часы, дешевые украшения, цепочки. Ювелирный отдел. И я стал останавливать покупателей. Как на рынке в Одессе.

— Мадам, можно вас на минуточку? — орал я и пальчиком заманивал к себе к прилавку совершенно обалдевшую от такого обращения тетку, совершенно к тому не привыкшую. Я брал ее руку и ловко надевал ей кольцо на палец. Потом я закатывал глаза и говорил:

— С ума можно сойти! Это так идет вам, мадам!

— В чем дело? — сердилась тетка, рассматривая мое колечко.

— Я просто не могу отказать себе в удовольствии, — говорил я, улыбаясь, — это какая же удача! Это милое кольцо стоит тридцать пять долларов... — тетка поднимала на меня возмущенные глаза, — но для вас, мадам, исключительно для вас у нас сегодня уникальный сейл — всего восемнадцать долларов!

И я поднимал ее ручищу с моим колечком и долго рассматривал его перед зеркалом. Тетка стихала, спрашивала меня, откуда я, и, получив ответ, что из Китая, смягчалась и покупала мой товар.

Ну я вас спрашиваю! Во-первых, я имел отличный урок английского, во-вторых, я продал товар, в-третьих, я умел убеждать! С моим-то гнусным произношением, омерзительным акцентом и дикарским словарем!

И я всегда был в числе лучших продавцов. По-русски я бы назывался передовиком, ударником социалистического труда, новатором. Я бы там не слезал с доски почета. А здесь все иначе. К тебе подсылают инспектора под видом покупателя, который тайно заполняет на тебя длинную анкету: как ты выглядишь, как разговариваешь с покупателем, можешь ли ты продать дорогой товар и товар подешевле, вежлив ли ты и тому подобное. Если ты отвечаешь всем требованиям, ты входишь в число пяти лучших и перспективных продавцов. Я очень гордился собой: я был в числе тех пяти!

— Ну что он хвастается, — скажет читатель, — нашел чем хвастаться, вот если бы он стал доктором или бизнесменом, на крайний случай редактором, то мог бы похвастать. Биг дил, стал продавцом! Это после его-то жизни, после "Клуба 12 стульев"! После театра, кино, телевидения, после шумных выступлений по всей стране! Неудачник он, а старается уверить нас, что все это хорошо. Жалко нам тебя...

Отбросьте вашу жалость, друзья, отбросьте жалость! Я ведь был счастлив! Я ведь жил другую свою жизнь. Я не жил для того, чтобы работать, как все мы там делали, а работал, чтобы жить! Жить новой жизнью. Учиться этой жизни. Узнавать, что такое деньги. Что такое кредитные карточки. Что такое люди вокруг. Их вкусы. Их возможности. Их стиль. Я вращался в Америку.

Потом меня вызвал начальник отдела кадров и спросил, не буду ли я возражать, если меня переведут в другой отдел, отдел солнечных очков. Идет весна, объяснил он, и сейчас надо распродать очки. О, это был вызов! Я узнал, сколько очков они продали в прошлом году в эту пору. Я решил, как Стаханов, перекрыть все рекорды. Но мои рекорды не были

липовыми. Я был честный стахановец! Я продал в шесть раз больше солнечных очков, чем мои предшественники год назад! На меня приходили смотреть, как на цирковое представление. Как я распоясывался с покупателями! Как я льстил им! Как убеждал! Как я менял очки на их носу, как падал на пол, пораженный прекрасным их перевоплощением! До моих очков они были никем! После них они становились всем! Как в "Интернационале"! Я целовал ручки дамам, я пожимал руки мужчинам, я подбрасывал в воздух детей, как кандидат в президенты! У моего прилавка всегда стояла толпа! Почему я это делал? Я хотел повышения. Я хотел работу, за которую платили бы комиссионные. Кто есть аристократы прилавка? Продавцы обувных отделов. За каждую пару проданной обуви они получали восемь процентов комиссионных. Я хотел в обувной отдел! А как же стахановская сознательность? Плевать я на нее хотел! Однажды я напечатал такую фразу в "Литературке": "Ему так мало платили, что от него требовалась сознательность". А я сознательно хотел получать больше. И я считал (и сейчас считаю), что я этого заслуживаю!

Потому что, как я понял, свобода — это не только возможность говорить, писать и думать то, что хочется, но и экономическая независимость. Никогда не забуду, как на одном деловом собрании, где обсуждалась возможность создания небольшого собственного бизнеса, встал бывший шофер грузовика, чье дело в этом бизнесе было поставлено так, что он стал буквально миллионером, и сказал:

— Знаете ли вы, джентльмены, что такое свобода?

— Да! — закричали все, и я больше всех.

— Нет, — сказал он, — вы не знаете! Свобода — это, когда стоишь на склоне изумрудного холма. Под тобой течет сверкающая чистая река, над тобой плывут легкие перистые облака, и ты говоришь своему архитектору, стоящему чуть поодаль: "Я хочу, чтобы в окна моей спальни солнце входило ровно в 11 часов утра!" И ты просыпаешься в своем доме, построенном по твоему проекту, и ровно в одиннадцать утра к тебе в окно вкатывается солнце! Это я называю свободой! И скажите мне, джентльмены и леди, разумеется, что дает такую свободу?

— Деньги! — закричали все, и я громче всех.

И меня перевели в отдел женской обуви. Где я учился про-
давать обувь? В Италии. Я зашел в обувной магазин в Ита-
лии, чтобы купить там туфли. Все в Остии говорили, что
обувь надо покупать в Италии, в Америке к ней не подсту-
пишься. Раз все в Остии так говорят, это верно. Я зашел в
магазин и выбрал парочку подешевле. Продавец встал пере-
до мной на колени и долго примерял мне туфли. Мне было
неловко. Мое коммунистическое сознание говорило мне, что
нехорошо так ползать перед клиентом, зачем ему унижать
свою рабочую гордость? Встань, товарищ, хотелось ему ска-
зать, ведь мы все равны! Вот до чего довела тебя проклятая
буржуазия и ее приспешники! Пойдем лучше разрушать весь
мир до основанья, а затем... А что затем? Я не знал тогда,
что клиент всегда прав. В России мы не видели таких продав-
цов. И в Америке тоже. Вот почему я работал, как в Италии.
Я знал, что в этом и лежат мои восемь процентов комис-
сионных.

Я вставал на колени перед толстыми тетками, представи-
тельницами меньшинств, перед разодетыми жительницами
Шейкер-Хайтса, даже перед недавними эмигрантками из Рос-
сии. И странное дело: я видел в их эмигрантских глазах
сочувствие и даже легкое презрение. Многие из них знали обо
мне, и им казалось странным, что я так "опускаюсь". Им
казалось, что я сломал свою жизнь, что я упал на социаль-
ной лестнице и никогда больше не поднимусь. Они все время
вспоминали слова старухи Долорес: "Лучше стоя, чем на ко-
ленях!" Им было невыносимо, что я стою перед ними на ко-
ленях и убеждаю их в том, что это не просто туфелька, а Зо-
лушкина туфелька, и остается только пойти на бал к прек-
расному принцу. Они по-прежнему думали, что человек —
это та должность, которую он занимает. Чем престижнее
должность, тем лучше человек. Тем он умнее и интереснее.

Зато американцы меня уважали. Они все наперебой рас-
сказывали мне, что, когда их родители приехали в эту страну,
они тоже работали черт знает где и постепенно, мало-помалу
поднимались вверх, чтобы детям их жилось получше. Да вы,
наверняка слышали тысячи раз эти американские истории.

Вот почему никто из них не видел во мне человека второго
сорта. И у меня было много американских друзей. И мы про-
водили с ними вечера: с профессорами, строителями, вла-
дельцами фирм и инженерами.

И я хорошо зарабатывал. Потому что у меня покупали.
Я был живой и веселый. Вообще-то я сначала хотел быть му-
сорщиком. Когда я узнал, сколько получают эти парни-му-
сорщики, я сразу попросил меня к ним отвести. Но мне ска-
зали, чтобы я выбросил это из головы, потому что у них
мощный профсоюз, и вообще надо заплатить большие деньги,
чтобы стать мусорщиком. Они получали уже тогда по 14
долларов в час.

В еврейские праздники я не работал. В этот день наши дру-
зья брали нас с собой в синагогу и мы слушали службу, ма-
ло, правда, понимая, что к чему. У входа в синагогу стояли
полицейские. Я насторожился. Я помнил милиционеров у
синагоги в Москве на улице Архипова. Я помнил их строгие,
ненавидящие глаза. И тут полиция? Полиция останавливала
движение на улице и помогала старушкам и детям перейти
улицу напротив синагоги.

И еще я любил ездить по Америке на моей машине. Мы
садились с женой и ехали вперед. Мы проезжали эту великую
страну штат за штатом, округ за округом и удивлялись ее
природе и богатству, ее разнообразию и единству. Мы зна-
комились с людьми на дорогах и приглашали к нам в гости.
Мы останавливались в маленьких мотелях и больших гости-
ницах, пили "блэк рашен", ели лобстеров и каждую секунду
наслаждались отпущенными нам днями жизни на свободе.

Теперь я с грустью и радостью вспоминаю мои первые годы
в Америке. Я живу в большом красивом доме, работаю по
специальности. И еще ухитрюсь писать мои истории. Но
счастливее ли я? Вряд ли. Потому что тогда, когда я грузил
мебель и торговал бриллиантами в универмаге, я был по до-
роге на ярмарку. А теперь я уже еду с нее домой. Как там пе-
лось в старой еврейской песенке на русском языке?

Мы догнали наши годы на высоком мосте,
На высоком мосте.

Годы, годы, возвратитесь к нам хотя бы в гости,
К нам хотя бы в гости...

Ведь что вся эта жизнь, как не яростный
 Прорыв — через себя, через тысячи
 Невзгод и неудач — к светлой радости
 Удачи: в этой мгле
 искру высечь!

О сладостная жизнь! о несладкая
 Жизнь впроголодь, ты круто замешена.
 Но дай успеть сказать неукрадкой
 О том, что отстоялось,
 что взвешено!

1967-1977

СУДЬБЫ ЖЕНСКИЕ

БРОШЕННАЯ

Дождь
 лил,
 лил.
 Солдат девку завалил.
 И сарай —
 Для слюбленных — сущий рай.

...Ох, уедет солдат в дальнюю сторонку,
 Не захочет он дать имени ребенку.

...А у девки, у стервозы,
 То ль дождинки, то ли слезы
 На щеках.
 Стонет — "ох" да "ах".

...Как прикажут: "По машинам!" —
 Ты, красотка, помаши нам,
 Помаши платочком. —
 Пошутили — точка.

...А у девки губы белы,
 Разговоры неумелы.
 "Будет сын", — говорит.
 "Как мне с ним?" — говорит.

...Солдат вертит головой,
 Взгляд тарачит неживой.

И уехал.
 Точно не был.
 Грузовик вдали растаял.
 Только выросла до неба
 Пыль дорожная, густая.

"Не вернется, не вернется..."
 И от пыли вся седея,
 Девка,
 брошенная,
 выла,
 На дорогу оседея.

1967

ИЗБИТАЯ

Дело бытовое,
 Все в жизни бывает, —
 Жена повоет:
 Муж убивает;
 Поплачет и вытрет,
 И все забыто
 Под монотонную музыку быта.

Белье постирала,
Обед сварила,
Жилье прибрала,
Детей одарила
Шлепками и лаской,
Спать прогнала,
Постелила,
Сама легла.

Муж
Лег,
Ущипнул
В бок:
"Ладно, не дуйся,
Дурочка, дуся!"
Взял свое.
Захрапел.
Он-то все
Простить умел.

Лежит жена
Унижена.
Рана болит,
Обнажена.
Сердце тукает в груди:
Уйди! Уйди! Уйди!

А куда уйти?
Как ни крути.
Нет пути, —
Дети.
Попала, дура, в сети!
Навсегда попала.
Навсегда пропала.

1968

ТУАЛЕТЧИЦА

Туалетчица
Тетя Ньюша
От печали лечится —
Водку глушит.

Туалетчица
Тетя Ньюша
Стать мечтала летчицей —
Подтирает лужи.

Туалетчицы
Не летают —
На табурете
Носки латают.

Туалетчица
Глядит уныло.
Нам-то что,
Нам только б мыло
Было.

Туалетчицы,
Седой бабки,
Швабра мечется,
А на душе зябко.

Туалетчица,
Какого черта
Жизнь — калач,
А для тебя — черствый?!

Туалетчица,
Чем ты хуже?
Брось
Вонючие тереть лужи!

Туалетчица,
Бери палку,
По дорогам
Сеmeni вразвалку!

И в деревне,
Принята ласково,
Песню спой
И расскажи сказку.

На российских
На больших дорогах —
Горя много,
Но и счастья много.

Воздух, лес —
Дыши, дыши жадно.
Слышишь, бабушка,
Уйди,
ладно?

...Туалетчица
Сидит-мечется,
На табурете
Носок латает.

1968

В РЕСТОРАННОМ ОКНЕ

Наклонилась.
Сломалась.
Плакала
на вестибюльном диванчике.

Швейцар становился во фронт,
провожая гостей;
два южных лощеных кота,
напевая в усы,
за двумя проститутками шествовали.

Замедленно,
как во сне,
падал пушистый снег...

А за огромным стеклом —
наклонилась.
Сломалась.
Плакала.

Никогда не узнать.
Не забыть.

1967

СТЕПНАЯ

Разломи ты мне луну
На два месяца!
На груди твоей усну —
Пусть пригрезится

Не отраднй наш денек,
Тропка торная, —
Огонек-недогонек,
Полночь черная.

Мне ли светит? — Не пойму,
Не отгадчица.
Только сердца не уйму,
Не наплачется.

По измятой побегу,
По исхоженной,
Потеряю на бегу
Пояс кожаный.

Что бегу, не чуя ног?
Кто ж так гонится?
Огонек-недогонек
Недогонится.

Так целуй, чтоб прокусил
Белым жемчугом,
Чтоб завывала: "Нет сил! —
Болью женскою
Ра-зо-рвал ты мне
Луну
На два месяца!"
Рухну в ноги...
Прокляну...
Рай пригрезится...

1964

ПЕНСИОНЕРКА

Точно бледная тень ты металась
по бесчисленным очередям
гастроном бакалея мясной
рыбный булочная овощной
и молочный и рынок
вот по кухне снуешь — готовить
вот по комнате — убирать
чистить резать варить подавать
подметать мыть посуду
стирать развешивать гладить
подавать мыть посуду варить
убирать подметать вытирать
с сеткой кошелкой бидоном

с одышкой
с ломотой в суставах
с болью в сердце
вдруг споткнешься —
инфаркт
может быть повезет пронесет
отлежишься и снова все то же
будни праздники
отдыха нет
к телевизору сядешь
но тут же вспорхнешь
дверь открыть
к телефону бежать
постирать приготовить убрать
и еще раз —
последний раз —
вскочить и упасть и не встать
сердце сломалось
ходики жизни
остановились
эта жизнь
эта жисть
эта жесть
эта жуть

05.1979

БИБЛИОТЕКАРША

Библиотека десятого жэка
Функционирует по четвергам.
Пенсионер, октябренок, калека
Пищей духовною кормятся там.

Те беллетристику предпочитают,
Этих питает сплошной научпоп.
В драку до дыр "Новый мир" зачитают.
Ставят вопросы решительно, в лоб.

Библиотекарша с пламенным взором
 Руководит этим пестреньким хором.
 Штурманом смелым ведет свой буксир.
 Истина — вот ее ориентир.

Микрорайонный рассадник культуры —
 Полуподвал сыроватый и хмурый.
 Но, несмотря на его неуют,
 Суть настоящего тут познают.

Все же кой-чем это дело чревато. —
 Как-то ее вызывали куда-то,
 Увещевали и дали понять:
 Если зарвется, сумеют унять.

Что же ты, милая, не доглядела?
 Литература — опасное дело, —
 Думать о жизни приучит всерьез. —
 Нынче на правду усилился спрос.

Осточертело писателям вроде, —
 Ищут ее и, бывает, находят.
 Что-то меняется. И неспроста
 Даже фантастика стала не та.

Как тут подсовывать праздное чтиво
 И, точно ватой, мозги детективом
 Изо дня в день набивать, забивать,
 Дабы привыкли себя забывать?!

Сколько же можно всего опасаться —
 Тут отмолчаться, того не касаться?!
 ...Значит, уволят. И, как ни крути,
 В няньки, в лифтерши придется пойти.

Вышла на воздух. Вздохнула печально.
 Стало в душе беспокойно, опально.
 Будет печалиться! Ведь под тобой
 Все-таки вертится шар голубой!

09.1977-01.1980

БАБКА-ПЬЯНКА

Пахнет потными деньгами
 В кассе винного отдела.
 В магазинном шуме-гаме
 Покупателям нет дела
 До старушки-замухрышки.
 А она — шустра-востра —
 Норовит собрать излишки:
 "Братик, дай! подай, сестра!"

По копейке, по двушке —
 У старушки-побирушки
 В кулачке засела горстка,
 На головке встала шерстка.

В уголке пересчитала —
 На душе так сладко стало...

Бабке — рай, и я ликую,
 Вместе славим господа.
 Выбивайте "маленькую"!
 Пьем до Страшного суда!

1969

ГАЛАНТЕРЕЙЩИЦА

Рюшики-воланчики,
лифчики-подвязки
и мечты о мальчике
из роскошной сказки.

Веки цвета синего,
а волосы матовые.
Обслужи красивого,
сытого, усатого!

Чужа взгляды пылкие,
наглые, небрежные,
погарцуй кобылкой
норовистой, нежной!

У тебя все данные!
Прояви старание —
вытанцуй свидание
в вечернем ресторане.

В рюмочке вот столечко
коньячка армянского.
Разгорелись щечки,
рассверкались глазки.

Промеж тонких пальчиков
сигарета белая.
Для такого мальчика
Чего только не сделаю!

Жизнь галантерейная,
скучная, практичная!
Хочу быть затейная,
дерзкая, развинченная!..

Сигарета скурится.
Выкурила — вышвырнула.
Завихриться! Скурвиться!
Только бы не тишина.

...Рюшики-воланчики,
лифчики-подвязки.
Личико заплаканное,
все в потеках краски.
10.1978

СУМАСШЕДШАЯ

Почки взорвались в саду,
птицы ликут —
синички и воробьи.
А она —
по дорожкам гуляет,
ходит, гуляет, глядит.

Уродлива — не передать:
немытые волосы клоками торчат,
совершенно седые,
лицо — серозем,
все на ней ветхое,
вечная полуулыбка
на губах блуждает.

Остановилась,
достала из сумочки зеркальце,
посмотрелась,
подкрутила кудельку,
подкрасила губки,
подпудрилась
и идет себе дальше,
идет себе дальше, гуляет.

Это здешняя сумасшедшая.
Она совсем не опасна.
Не пугайтесь, не тронет.
Просто бедняжка чувствует весну.
Но не так, как мы, — острее.

...Я иду, молодая, статная,
в сердце — звонкая радость,
в теле — томленье,
и чего-то мучительно хочется,
чего-то мучительно хочется,
а чего — непонятно...

На скамейку присядет,
улыбаясь, вертит головой,
из сумочки булочку вынет
и кусает, держа двумя пальчиками,
кусает, крошит.

Птицы ее не боятся,
подлетают к самым ногам —
важно ступают голуби,
воробьи суетятся, кричат,
кричат, суетятся.

Все проходят по этой аллее.
Поглядят — отшатнутся.
И никто не присядет рядом.
Никто не присядет рядом.
Никто не присядет рядом.

05.1974

ЖИЗНЬ АКТЕРКИ

Вот и все.
Прощай, актриска!
Вот и вышел срок.
Покрывало.
Гроб-восьмерка.
Тапочки.
Венок

от месткома.
И — ни дома,
никакой родни.
Грузовик.
На дне — солома.
Ну, шофер, гони!

От субретки
до "старухи" —
три десятка лет.
В сундучке — одни прорухи,
ни в чулке монет,

ни сберкнижек,
ни брильянтов
не напасено.
Только дал господь
таланта
крепкое вино
и удел:
с семьей расстаться,
но — не под венец, —
по провинциям
скитаться
из конца в конец.

Кимры,
Кинешма,
Калуга...
Средь дорог, морок
завертела страсти вьюга,
смяла, сбила с ног.

Зубы сжать!
Хоть сердцу горько, —
не молить, не клясть.
Лишь в гостиничной каморке
нареветься всласть

и — играть
самозабвенно
лютую тоску,
верность,
ветреность,
измену —
по черновику

жизни,
так,
чтобы, раздеты
правдой до конца,
поворачивались
к свету
тусклые сердца.

Дать душе до дна
излиться,
ну и — без чудес —
на дожитие
прибиться
в тихий ДВС. *

Все стирает жизни терка.
О как прост итог:
покрывало,
гроб-восьмерка,
тапочки,
венки.

Что находим, — все теряем.
Но, пока живем,
верим,
веруем,
вверяем,
жизни отдаем.

09.1973-04.1976

* Дом ветеранов сцены.



Михаил АЙЗЕНБЕРГ

НЕТ СЛЕДОВ НИ ДОБРА НИ ЯДА

* * *

И время — плешь— уходит, как в подушку,
а дальше — ничего.
Подайте свежую зеленую опушку
подателю сего.

Подайте сон на гербовой бумаге
и мельницу лучей,
где водяные радужные знаки
играют, как ручей.

Открыта в ночь последняя отдушина,
где снова заблестит
и оживет растущая в кости
одна телесная жемчужина —
разбужена, чтоб дух перевести.

* * *

У черной лестницы согреет
одна затяжка на двоих.
Прижавшись возле батареи,
слабеет шепот, и притих
колодец. Разве только редко
квартира всхлипнет за стеной,
да лифта проволочная сетка
гудит подземной тишиной.

И открывается дорога —
холмистый берег и мысок,
и шелк цепляется за ноготь,
и накаляется песок.
Теснит, натягивает жестко
в двойном ознобе заодно,
уже под пальцами бороздка
и с губками морское дно —

Я погружаюсь
Было, было —
стучится в памяти, как пульс,
когда хватаюсь за перила
и в пекло жалобно скребусь.

* * *

Все наше дело — время — хрупко
И осыпается в речах.
Его, как мел, сухая губка
стирает память, одичав.

И скашивает черепа,
опасно искажает лица.
Пять человек — уже толпа,
уже не смеют разделиться.

Давай коситься на свое
и перекраивать соседей,
принявшись по второй, по третьей
за отворотное питье.

* * *

Неотчетливое лицо
Нет следов ни добра, ни яда
Только пресное озерцо,
где хранительница-наяда
проплывает за кругом круг.
И ее повторяют сотни
завитринных твоих подруг —
все рекламные оборотни.

* * *

А где тот человек, что нам оставил ворох
Изрезанных газет и десятилетний сор? —
в дырявом пиджаке, в опорках за семь сорок
уехал под забор.

Что, каково ему на итальянской даче,
на римском пикнике,
пока он дорожит единственной удачей —
исчезнуть налегке.

Что б вывезти на вес в разорванном пакете
с запасом сигарет?
Где б погулять ему, пока на этом свете
не выключили свет.

* * *

Время ехать домой. Хозяева
еле жабрами шевелят.
Остальные стоят, как зарево,
день прожарившись на углях.

Вот уплывшая в море виски
(даже судорога свела),
с чешуи отряхая брызги,
всплывет русалка в конце стола.

Я отпущу ее дальше в море,
отдам ей свой "капитанский" джин,
если песенку мне повторит,
которую Шнитке переложил.

Ту, где все, а всего немного —
только музыка да чума.
Жизнь идет и не знает срока,
и ничем не омрачена.

* * *

Не в печной трубе, а в газовой,
верно с первого этажа,
тихо шепчут или подсказывают,
или голосом сторожат.

Ходит гул по железной флейте —
сторожиха твердит свое,
или мысленный слабый ветер
там гуляет и так поет.

Не пугает и не забавит
голосок неизвестно чей, —
перепевы кухонных баек
и позвякиванье ключей.

Но каким-то последним звоном
все приманивает к себе,
неуверенным угомоном,
просочившимся по резьбе.

* * *

День откроется мутным вихрем
и толченым в лицо стеклом,
грубым воздухом, снегом рыхлым
вслед идущему на поклон,
вслед бредущему за санями.
За какими? забыл, прости.

И невидимыми ремнями
только снег впереди свистит.

* * *

Все чаще кажется, что надо самому
Поверить черному наркозу,
Увидеть, как они идут по одному,
держа за горлышко сегодняшнюю дозу,

и каково тонуть на самом мелком дне,
не дотянувшись до второго,
двойного, черного вдвойне,
почти желанного покрова.

КРАСНЫЕ ВОРОТА

Из малого зверька, из ящера,
Шныряющего по кустам,
в простую статую сидящего
я постепенно вырастал.

Я слушал просьбы и приказы
нечистых духов городских
и растерял свои запасы,
их подбирая колоски.

Теперь сижу в садовом кресле
и жду, зрачками шевеля,
что зелень чахлая воскреснет
или расколется земля.

Почти расплывшийся краями
на остывающей плите,
как этот каменный крестьянин,
запутавшийся в бороде,

между деревьями затерян.
Они впитают тень мою,
и здесь, на лермонтовском сквере,
я наконец войду в семью.

София ДУБНОВА

МОЯ РОДОСЛОВНАЯ

Могилы древнейших праотцев —
В пустынях Востока,
А память моя возвращается
К иным истокам.

Сродни мне шелест таинственный
Волынского дуба:
Мой прадед был каббалистом
Из города Дубна.

В жилище своем убогом
В рассветный час
Каббалист беседовал с Богом
С глазу на глаз.

Бродил по полям и дубравам...
Горько пахла полынь,
Колыхались в молитве травы,
Колосилась Волынь.

Наполненный светлым звоном,
Мир мнился преображенным...
Каббалист был в душе поэтом,
Не зная об этом...

Прошлое с настоящим
Тайными обвито узами:
Мне тоже лесная чаша
Звучит музыкой.

И трав живая беседа
Порою слуху доступна...
Спасибо, мой дальний предок,
Рабби Иосиф из Дубна...

1970

"Почему такая великолепная теория уже столько лет приводит к совершенно противоположным результатам?"

Ян ПРОХАЗКА

Плохая история?
Плохие народы?
Плохие вожди?

НА ЭТИ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ ДОРА ШТУРМАН В КНИГЕ

● "НАШ НОВЫЙ МИР" ●

Рукопись книги "Наш новый мир" (Теория. Эксперимент. Результат) циркулирует в самиздате с начала 70-х годов под псевдонимом В.Е.Богдан и была нелегально вывезена из СССР.

Автор ее — Дора Штурман, — эмигрировав в Израиль, дополнила рукопись (спустя десять лет) новыми фактами и статистическими данными, которые убедительно подтвердили достоверность "подпольного" анализа. А значит, труд Доры Штурман может быть своего рода ориентиром для прогнозов развития советской системы.

Объем книги — 360 страниц.

Цена, включая пересылку, — 10 долларов

Стоимость в Израиле — 75 шекелей.

Книгу можно получить, отправив чек или мани-ордер по адресу:

D. TIKTIN, 422/6 TALPIOT MIZRAKH,
JERUSALEM 93802

ПУБЛИЦИСТИКА. ФИЛОСОФИЯ.

КРИТИКА



Евгений НАКЛЕУШЕВ

ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛИЗМ?

К "исправлению имен"

"Мне ли не знать! — воскликнет в ответ на мой вопрос читатель. — И решительно не понимаю, что в одиозном этом "имени" подлежит "исправлению". Со своей стороны, я хотел бы показать, что, прекрасно узнав на собственной шкуре то, что называю "социализмом", мы и близко не видали социализма подлинного. Исковерканы самозванными "коммунистами" слова "социализм" и "коммунизм". Но люди мыслящие, мыслят не словами, а понятиями и прекрасно понимают издевку над псевдоучеными гетевского Мефистофеля: "Коль скоро недочет в понятиях случится, их можно словом заменить... Из слов одних, ярясь и споря, возводят здания теорий".

В самом деле, прямой и буквальный смысл понятий "социализм" и "коммунизм" есть "общественность" — строй, нацеленный на благо целого общества и исключающий паразитизм и злоупотребления любых отдельных личностей, групп, сословий, классов и государственных институтов. В этом — прямом — смысле, кто такие все эти главы преступных антинародных клик — Ленины и Сталины, Мао и Пол-

Поты, если не злейшие антикоммунисты и антисоциалисты? И какая страна социалистичнее, — США — с их, не спорю, кричащим индивидуализмом, но ведь и с вэлфэйром, свободно организующимися коммунами, отсутствием непроницаемых кастовых перегородок — или СССР, где все обстоит как раз наоборот? Я думаю, что на уровне установленных институтов индивидуалистическая система США неизмеримо социалистичнее советской.

Заметим для ясности тавтологическое в сущности положение, что в какой-то, пусть самой минимальной, степени социалистично всякое общество, коль скоро оно еще существует, не разорванное усилиями обезумевших в своем эгоизме групп и индивидуумов. Это и позволяет сравнивать степень социалистичности индивидуалистических США и антисоциалистического СССР.

Многие скажут, что я хочу внести путаницу в установившееся употребление понятий. Напротив, есть только один путь к ясности мысли и связанной с нею — хотя бы до некоторой степени — эффективности действия.

Еще 25 веков назад Конфуций главным в своем детальнейше разработанном социально-политическом учении назвал "исправление имен", сводившееся к простейше-тавтологическому требованию называть вещи собственными именами, как то: государя — государем (а не "слугой народа"), подданного — подданным (а не "хозяином необъятной родины своей"), отца — отцом, сына — сыном и т.д. Это очевидно неизбежная судьба всякой трезвеющей от кликушеской демагогии эпохи.

Что же мешает теперь развитию социалистических тенденций в России, где характер народа, как утверждали целые поколения иностранных наблюдателей и самих русских (от либералов и революционеров до реакционеров и консерваторов), в высшей степени социалистичен? Да "родная наша советская власть", разумеется. Кто еще предпринимает столь героические усилия для разъединения нас с самого раннего школьного возраста? Правда, одновременно нас "организуют в коллектив". Да полно, что это за "коллектив"! "Формальный" (проще б сказать: для-начальственный) — объясняют нам искусники-социологи. Но в том ведь и дело, что нормаль-

ный коллектив — естественная ячейка общества — формальным быть не может, как не могут быть формальными дружба, любовь, симпатия и сотрудничество. Формализм коренится в отчуждении, источниками которого могут являться государственная механика, сословно-кастовое дробление, болезненный индивидуализм, но всего менее — здоровая общественность, служащая главным источником человеческого в наших отношениях.

Для Запада с индивидуалистической доминантой его цивилизации естественна ошибка, при которой сваливаются в кучу общество и государство, как якобы противостоящие личности в ее стремлении к самоутверждению. По иронии истории, Маркс одним из первых на Западе противопоставил государство обществу, обнаружив в первом аппарат насилия, т. е. антиобщественный институт. У Маркса, однако, характеристика государства осталась крайне двусмысленной, так как государство служит у него насилию "одного класса над другим" и ничему больше. Таким образом, государство осуществляет, по Марксу, чисто вспомогательную функцию сословно-кастового угнетения. Как таковое оно должно было бы работать против самого себя: историки знают, что сословно-кастовые системы, как правило, наименее централизованы. Правда, Маркс знал и "полицейское государство", т.е. государство в наиболее чистом виде, способное адекватно служить только самому себе и своим чиновникам — садо-мазохистам, но то был еще не перезревший Маркс. У последнего все такого рода тонкости исчезли, как явно уклоняющиеся от его ключевой доктрины классового взаимопожирания — единственного двигателя социального прогресса — и государства — удобной машины, всегда готовой служить интересам класса-победителя.

С наибольшей ясностью независимый характер государства и его антагонизм в отношении общества раскрывается в идеологиях и практике Востока, где личность исторически развивалась не вширь, а вглубь, и в этой своей направленности не противопоставляла себя обществу, но стремилась к гармоничному с ним слиянию (что называли на Руси "собор-

ностью"). Это создало здесь все условия для постановки проблемы в самом чистом и классическом виде.

Наибольшего расцвета социально-политические учения Востока достигают в Древнем Китае с 6-го по 3-й век до н.э. в классическую эпоху "расцвета ста цветов и соперничества ста школ". В частности, в 4-ом веке до н.э. некий Шан Ян написал для правителя полуварварского царства Цинь "Книгу правителя области Шан" ("Шан Цзюнь Шу"). Идеология тотальной государственности здесь оказалась выражена с никогда не превзойденной степенью ясности и без следа демагогии. Для масштаба: зловеще знаменитый на Западе, Макиавелли кажется рядом с Шан Яном милым либералом, поднаторевшим, правда, и в изучении неприятных сторон государственности.

Красной нитью проходит через всю книгу Шан Яна идея непримиримой вражды мирного по природе народа (общества) и военного по природе государства: "Когда народ силен, государство слабо. Когда слабеет народ, армия усиливается!"

В целях ослабления народа предписывается его оглупление: "Когда законы страны ясны, государю не надобны умные люди". "Из этих людей сильных надо сломить, красноречивых заставить прикусить языки!" Той же цели должно служить искоренение в народе нравственности: "Милосердие и справедливость, почтение к родителям и братская любовь суть паразиты на теле государства". Запрещению подлежат священные для народа классические "Книга истории" и "Книга песен".

Ключевой юридической идеей является наказание за мелкие провинности и за самые тяжкие преступления с равной — крайней — жестокостью. В результате подобной практики, уверяет Шан Ян, "народ полюбит государя как родного!" "Когда наказания суровы, законы понятны всем!"

Специальный раздел посвящен насаждению повального доносительства, необходимого, чтобы "государство победило народ". Детальнейше разбирается, в частности, как заставить доносить друг на друга мужей и жен, а также людей, занятых общим делом.

В области экономики предписано искоренение частной торговли и независимых ремесел — "люди эти наловчились менять место жительства, и их не так-то просто использовать"

Настоятельно рекомендуется захват государством важнейших монополий соли, вина и железа, запрет путешествий без государственной надобности, разрушение крестьянской общины и крупных семейных хозяйств, а также прикрепление подданных к месту жительства.

Все силы страны объединяются на службу "единому" — "земледелию и войне", что должно привести к неограниченной военной экспансии: "Когда армия применяет средства, которых противник устыдился бы, она непременно окажется в выигрыше!"

Не думаю, что учение Шан Яна требует развернутого комментария — все его тонкости мы прочувствовали на собственном опыте с раннего детства в стране Советов.

Опираясь на вышеочерченную идеологию, царство Цинь разгромило своих культурных соседей, объединило Китай и учредило прецедент — за 22 века до Мао — "культурной революции". Результатом оказалось государство до того совершенное, что жить в нем не было никакой возможности. Народ восстал, и к власти пришла просвещенная династия Хань (по имени которой благодарные китайцы до сих пор называют себя народом Хань), сделавшая официальной идеологией учение Конфуция, требовавшего "любить народ" и абсолютно подчинить государство интересам общества.

Характерно, что конфуцианцы слезно молили государя "вернуть народу соль и железо" (вино народ как-то вернул себе сам). В переводе на бредовый язык ныне повсеместно принятой терминологии они просили "денационализировать", "разобществить" эти промыслы. Но в том-то и дело, что захваченное государством отнимается им не только у отдельных лиц, но и у всего народа, вплоть до последнего нищего. У самого богатого владельца рудников и заводов нищий еще может выпросить милостыню. Не то с государством — оно даст только то, что найдет необходимым дать. В пределе могущества государство не даст ничего.

Центробежные тенденции были еще сильны в стране, и

государь не решился выпустить из рук важнейшие рычаги экономического влияния. Он извлек из нор уцелевших "законников" и сравнил их с конфуцианцами в печально знаменитой — увы, только в Китае — "Дискуссии о соли и железе". Судьей дискуссии он взялся быть сам, и это определило ее исход. Результатом явился неявный компромисс в официальной идеологии "императорского конфуцианства" доктрин Конфуция и Шан Яна.

Но даже и так организованное китайское общество поражало своим гуманизмом Европу еще 2000 лет спустя, находясь уже в глубоком упадке и под властью иноземцев-маньчжур. Лучшие умы Европы 17—18 веков, среди них Лейбниц, были страстными синофилами. Даже португальские купцы, потрясавшие китайцев своим варварством, находили чинимый над ними китайский суд несравнимо гуманнее и справедливее отечественного.

Зачем зарываюсь я так в Китай? В конце 60-х годов кто-то из советских историков ухитрился ввернуть в интервью журналу "Знание — сила", что Китай словно нарочно создан, чтобы опровергать исторические теории, сочиненные теми, кто не знает Китая. Заметим, что круг гуманитарных идей, обращающихся на Западе, сложился в принципиальных чертах не позднее 18 века. Даже, если чудовищную крошку марксизма характеризовать как оригинальную теорию, это все еще середина 19 века. Между тем серьезное изучение китайской истории начинается на Западе никак не ранее конца 19 — начала 20 века. Таким образом, в обращении к китайской истории следовало бы видеть не роскошь, а гигиену, необходимую для развития плачевно слабого у нас исторического здравого смысла. Китай продемонстрировал нам принципиальный антагонизм государства и общества — истину азбучную, но для большинства из нас совершенно неожиданную. Там встретили мы Шан Яна, чье древнее учение оказалось удивительно и неприятно нам знакомым и очень полезным для понимания нашего настоящего. Не окажется ли столь же важным для устройства нашего будущего и выяснение того, кем был изуродованный "компромиссом" с Шан Яном Конфуций?

О Конфуции ходит масса вздора, сочиненного теми, кто никогда не читал его произведений (точнее, записей его речей учениками) либо ничего в них не понял в силу предрасудков места и времени. Между тем, как постараюсь я показать, именно Конфуций (а не злосчастный Маркс) был величайшим социалистом и коммунистом в истории.

Уверяют, что Конфуций был ультраконсерватором. "Я ничего не изобрел, я только передаю завещанное древностью". Так, но в Китае да и во всем остальном мире, включая Европу (вплоть до 18 — начала 19 столетия), все были "ультраконсерваторами", даже ультралибералы. Каким-то образом это нисколько не мешало социальному прогрессу, иногда и весьма завидному. Факт, что ни один мыслитель земного шара не подтолкнул свою страну — и ей сопредельные — к столь радикальному преобразованию, как Конфуций.

Инкриминируют Конфуцию, что он был идеологом аристократической реакции. Он действительно требовал "поддерживать древние роды", сравнивал гармоническое отношение "благородного мужа" и "мелкого люда" с ветром и травой: "травка склоняется, куда дует ветер". Но Конфуций — первым в Китае — и, может быть, во всем мире придал понятию "благородства" не биологический, а духовный и нравственный смысл. Среди учеников Конфуция, воспитывавшихся им для высших государственных должностей, были и аристократы, и простолюдины, богачи и бедняки. Его любимый ученик Ян Хуэй, которого он ставил выше самого себя, был крайне беден и, по-видимому, был простолюдином. Придя к власти, конфуцианцы организовали в полном соответствии с духом учения совершенно уникальный институт "куанляо" — правящих ученых-гуманитариев. Доступ в ряды куанляо был открыт посредством анонимных экзаменов для каждого, кто обнаруживал достаточные способности, знания и высокий моральный уровень.

Что касается требования "поддержки древних родов", то в эпоху Конфуция крутой их упадок был обязан собой более всего напору "ничтожного люда", чьим главным преимуществом являлась та самая неустыжаемость в средствах, которую возвел впоследствии в принцип государственной политики

Шан Ян. Таким образом, эта часть программы Конфуция не противоречила п р а к т и ч е с к и (теоретически, разумеется, противоречила, но в том-то и дело, что Конфуций был не доктринер, а мудрец, предпочитавший гармонию в о п л о щ е н и я идей их формальной стройности), а балансировала и благоразумно умеряла радикализм его нового представления о "благородном муже". Придя к власти, конфуцианцы ухитрились инкорпорировать в свою систему и это требование Учителя. Впрочем, эта поддержка далеко не мыслилась ими как беспредельная. Так, анализ родословных знатнейших семейств, проведенный для одного из последних столетий конфуцианского Китая, показал, что состав правящей элиты сменился за столетие почти полностью. В свете этих данных естественно предположить, что поддержка была скорее недостаточной, чем избыточной.

Да, но какое у всего этого отношение к социализму? — изумится читатель. Выше мы старались обосновать в сущности тавтологические, но тем более нуждающиеся в обосновании положения об общественном — враждебном тотальной государственности — характере социализма и о социалистичности всякого вообще общества. Добавим к этим положениям еще одно почти столь же элементарное (так во всяком случае видит его Ортега-и-Гасет, приводящий его без доказательств): всякое общество есть по своей природе аристократия. К доказательству этой столь чуждой нашему времени идеи уместно будет привлечь авторитет самой блистательной из когда-либо существовавших демократий.

Высочайше чтились в Древней Греции семеро мудрецов, воспитавших ее на переходе от архаики к классике для ее уникальной роли "греческого чуда" и, в частности, роли первой в мире демократии. Каждый мудрец прославился особым речением, большинство которых ныне звучит тривиально, например: "Меру во всем соблюдай". Особняком среди них стоит, однако, одно далеко не столь в наши дни популярное: "Худших везде большинство". Не правда ли странная в качестве объекта почитания пылких демократов мудрость? Внимательный анализ речений мудрецов показывает, однако, что все они, включая упомянутое, чрезвычайно гармонируют

друг с другом, выражая каждое по своему одну и ту же весть. Эту весть я сформулировал бы следующим образом: творчество объективно трудно ("Хорошее трудно") и требует от человека строгой самодисциплины ("Обуздай язык, чрево и уд"), трезвого сознания собственной природы ("Познай самого себя") и окружающего мира ("Знай всему пору"). Вместе с тем ничто не способно послужить преградой человеку, исполненному конструктивным духом и волей ("Усердие — все!").

Усвоив эту весть — сурово-трезвую и героически-уверенную одновременно, — древние греки стали тем, что навсегда поразило мир. Нельзя не заметить, что "Худших везде большинство" было в этой связи социологическим вариантом более общего убеждения: "Хорошее трудно". Как ни парадоксально звучит, демократия никогда не могла бы быть построена греками, не сознавая они со всей серьезностью эту резко аристократическую истину. Не могла бы она и устоять больше нескольких лет в крайне сложных и неустойчивых условиях греческих полисов. Потому-то будущих граждан учили в школах не только чтить демократические законы отечества, но и речение: "Худших везде большинство".

И, однако, что-то же в этом суждении не то! Заметим, что оно никак не сочетается с христианством — не с тем изначальным, что предвещало гибель всем и спасение горсти избранных, но с христианством более зрелого периода, на котором была выстроена целая послеантичная европейская культура, доживающая свой век донныне. В самом низко павшем человеческом существе христианство учило видеть Божье подобие. В цветущий его век человек в здравом уме и твердой памяти мог совершенно искренне обратиться к незнакомым ему людям: "Люди добрые!" В чем тут заковыка? Да в том, что всякое общество вообще, а христианское особенно сознательно, есть не простая сумма индивидов (или попросту сброд), а органическая нравственная иерархия. Посему в нем становится не таким уж важным, сколько каких в нем людей изначала — до сложения органического социального единства, — но решают свойства людей, признаваемых в этом обществе лучшими из лучших.

Аналогично — худшее "в большинстве" в каждом отдельном человеке. Всякий, имеющий способность и мужество заглядывать в себя, сознает это отчетливо. Не кокетничали христианские святые, сокрушаясь бездной неизбывной греховности в себе. "Олимпиец духа" Гете спокойно признавался, что не слышал о преступлении, которого не чувствовал бы себя неспособным совершить. Тем не менее, иерархическая подчиненность худшего лучшему в человеческой душе позволяет иным людям проявляться вовне как почти совершенное воплощение добра, а чего еще требовать от человека.

Точно так же, пока здоровое общественное единство устойчиво, лучшие задают в обществе тон до такой степени, что их стиль поведения и система ценностей не просто становятся уделом большинства, но все социально более или менее здоровые люди стремятся вести себя, как лучшие, а неспособных к этому жалеют, считая "несчастливыми, заблудшими душами". В этом смысле все нормальные люди нормального общества — "люди добрые". Но это и значит, что общество есть по природе своей а р и с т о к р а т и я , т.е. "правление лучших".

Не любопытно ли, что аристократично по-своему и суровое речение древнего мудреца, и прямо обратное ему идиллическое суждение обо всех нормальных членах общества как о "людях добрых" и что каждое по-своему же справедливо?

При всех недотяжках своего воплощения в жизнь конфуцианская система была в генеральной тенденции настоящей аристократией нравственности, ума и талантов. Это значит, что она была исторически осуществленной моделью социализма.

Четыре определяющие силы исторического движения я определил бы как общество и личность, государство и касту-сословие. В исторически недавно образовавшихся развитых цивилизациях, организовавших для совместной жизни огромные массы людей, определяющий стиль жизни нашего сложившегося в крохотных коллективах вида претерпел неизбежную резкую дегуманизацию. Решающими в истории на долгие века стали силы закрепощения: каста-сословие и государство. К счастью, их интересы совпадали только в

части, хотя и большей части: сословно-кастовый эгоизм с неизбежностью действовал всегда и повсюду, как центробежная сила, и никогда не мог быть вполне примирен с прямо обратной себе все связующей и все уравнивающей несвободой государственного деспотизма. Их неизбежный антагонизм делал каждую из этих сил закрепощения вторично освободительной. Со времен Древнего Египта и Шумера государи в борьбе за влияние провозглашали себя — иногда искренне — защитниками слабых и угнетенных от хищных и сильных. В свою очередь стремилась к объединению с народом в единый антидеспотический фронт знать, интересовавшаяся в основном собственными привилегиями. Интереснейшим документом такого объединения явилась английская Великая Хартия Вольностей, где еще в 1215 г. наряду с вольностями баронов были ограждены и права всех прочих слоев общества — до крепостных!

Дважды — сначала на исходе архаики в древности, а затем в период упадка средневековья — торговые слои Запада, чье положение в сословной системе всегда было наиболее двусмысленным, нашли себе великую поддержку в законе. По природе своей письменный закон вынужден искать простоту за сложностью, унифицированность за различием и необходимо тяготеет к антиаристократической идее равенства всех и каждого перед законом. И дважды на Западе этот путь привел к торжеству того типа свободы, который весьма неудачно — сбивчиво и удобно для демагогов — был назван "демократией" — "правлением народа". Принципиально более точным было бы выражение типа "политического персонализма", ибо фундаментом рассматриваемого устройства является именно идея равенства граждан в юридических и политических правах, и, таким образом, каждый из них представляется суверенным в своей отдельности. Это — свобода, ориентированная на изолированную личность (точнее, на тот ее тип, который обладает достаточной хваткой и энергией, чтобы суметь такой свободой воспользоваться, — голодный, неграмотный, поэт и даже мыслитель — вспомним пример Сократа — немного получили от этой свободы). Что касается "народа" в целости, т.е. общества, то победа личнос-

ти была поначалу и его победой: никто, включая самых свирепых тиранов, не утверждался у власти, не используя так или иначе необъятную народную силу. Более того, будучи силой свободы, личность при всей своей торгашеской ограниченности, вступила в союз с освободительной же силой народа-общества естественным для себя образом. Тем не менее вопреки гордому звучанию слова "демократия" для народа то была пиррова победа.

Уничтожен или резко потеснен был статус прежней родовой — формальной — аристократии. Но на фундаменте формального юридического равенства пройдошливая, торгашеская личность выстроила "классы" — прозрачную, хоть и ослабленную, параллель прежним сословиям-кастам — и, ослабив государство, приспособила его охранять "ночным сторожем" это неэстетичное сооружение.

Притом буржуазная псевдоаристократия была не только ослабленной, но и резко ухудшенной в сравнении с родовой аристократией моделью. Платон, не чуждый известной надменности аристократ царского рода, считал, что напрашивается на бунт то государство, что позволяет доходам богатейших своих граждан превышать доходы беднейших более чем в — сколько бы вы думали? — четыре раза! В современных США одни только жалованья разнятся от тысяч до миллионов в год, т.е. в добрую тысячу раз! Переняв почти все пороки поздней выродившейся аристократии, "серые бароны" не восприняли ничего из ее концепции чести — да и не могли позволить себе этакой роскоши по торгашескому своему положению.

Единственным преимуществом новых господ было то, что они умели организовать дело, дезорганизуя в то же время решительно все — технически непроектируемое и непродажное. Но "не хлебом единым жив человек, и, что пользы человеку, если приобретет себе весь мир, а душе своей повредит". Этот путь был уже однажды пройден античностью и привел ее к ужасающему краху, из которого Запад поднимался почти тысячу лет и от которого до сих пор не оправилась переставшая быть Западом в культурном отношении колыбель его Греция.

Неизбежный результат политического персонализма — распад народа-общества в бесструктурную "массу", где "худших везде большинство" и где сомнительным становится само представление об отличии "лучших" от "худших". Здесь распадается сам здравый ("общий", как справедливо величают его англосаксы) смысл. Здесь теряет смысл и становится ядовитой карикатурой даже официально санкционируемая религиозность. Выжившей из ума массой неизбежно завладевают и бесстыдно проституируют на ее отсталости демагоги. За сим следует не "бегство от свободы", по кокетливому выражению Эриха Фромма, но бегство от вторичного рабства выжившего из ума персонализма. Даже фюреры кажутся отдохновением и здравомыслием после свистопляски демагогов.

Но в усугубление трагедии персонализма тотальное государство опирается на него же, хотя приписывает ему "обратный знак". Здесь, как обращалось внимание в начале статьи, разъединение общества более чем где бы то ни было становится условием функционирования системы. Здесь же идея всеобщего юридического и политического равенства доводится до конца — до абсурда, как свидетельствуют законы Шан Яна и куда более нам знакомые. Правда, теперь это равенство не прав, а бесправия, т.е. чисто отрицательное равенство. Но ведь только так и возможно всерьез (а не формально!) уравнивать людей, вопиюще неравных от природы. Как смехотворно звучат в этом контексте самодовольные разглагольствования Запада о превосходстве его индивидуализма над "коллективизмом" Востока!

На что же надеяться человеку под властью тоталитарного государства? На "демократию"? Благодарим покорно; ею, а точнее, политическим персонализмом, под нею скрываемым, мы сыты больше всех, исключая разве несчастных камбоджийцев. Остается, стало быть, социализм с его оплеванным коллективистским принципом.

Мы обязаны еще обратить внимание на принципиальное различие Запада и Востока. На Западе письменный закон оказался естественным союзником свободы. Но нигде больше. В Китае, как мы видели, "законники" стали ее злейшими вра-

гами. Это не было случайным вывихом истории — еще Конфуций почти за два века до Шан Яна резко возразил против записи законов, будучи уверен, что жизнь "слишком сложна", чтобы закон мог быть справедлив. С этим согласились в классическом Китае все, с единственной разницей, что одни отвергли закон, а другие — справедливость. Тот же Шан Ян констатировал, что "ученый люд ненавидит законы". Спустя более чем две тысячи лет о формальном и мертвящем характере закона заговорили русские славянофилы.

Есть, очевидно, нечто в специфике жизни Востока, что заставляет служить злу ту самую уравнительную идею закона, что так послужила добру на Западе. Это — не особая "сложность жизни", ее хватало везде, но как раз чрезвычайная сложность жизни в Риме обусловила непревзойденный шедевр римского права. Что же тогда?

Мы нашли две — "положительную" и "отрицательную" — формы политического персонализма, обе связанные с упростиельной идеей закона. Прямо противоположен этой идее статус аристократии, связанной, таким образом, с усложнением—различением.

Мы видели, что аристократия существует также в двух формах: неформальной и сословно-кастовой. Как и в случае персонализма, эти две формы служат противоположным целям свободы и порабощения и могут быть естественно классифицированы как "положительная" и "отрицательная". Очевидно, что измерение упрощения—уравнения — усложнения—различения необходимо и достаточно для противопоставления персонализма вообще и вообще аристократии, но не ориентирует нас в их собственных внутренних различиях. Необходимо, значит, второе измерение, в котором станет ясным различие Запада, знающего положительный персонализм и не знающего положительной аристократии, и Востока, не знающего положительного персонализма, но знакомого (по крайней мере в случае Китая) с положительной аристократией.

Уникальной географической особенностью Западной Европы является огромное значение коэффициента, рассчитываемого делением длины береговой линии на площадь внутренних районов. Тот же коэффициент принимает уже совсем колоссальное значение в случае родины демократии Греции, особенно учитывая ничтожную полезную часть ее гористой и малопродуктивной территории. Сама природа подталкивает западного европейца вообще, а грека в особенности обращаться вовне, а не вовнутрь отечества — к занятию торговлей, мореплаванием, к внешней экспансии и стимулирует экстраверсивный, обращенный вовне, характер Западной цивилизации. Прямо обратный характер у Азии и географически продолжающей ее Восточной Европы с их гигантскими массивами суши и сравнительно короткой линией берега, с речным — интегрированным вокруг великих рек характером самых значительных восточных цивилизаций. Не в этом ли различии ключ к особенностям судьбы Запада и Востока?



В последние десятилетия была создана и разрабатывается Общая теория систем, изучающая общие законы организации самых различных образований от биологических и исторических до физических и космических. Один из крупнейших в СССР специалистов в этой области А.Малиновский делит системы на "жесткие" и "дискретные". В первых "изменение одного элемента влечет за собой изменение в остальных частях системы". Во вторых, напротив, "отдельные элементы связаны между собой не прямо, а через их отношение к среде. Иными словами, они являются независимыми единицами, образующими систему благодаря тому, что обладают рядом общих черт" (Системные исследования, М., 1970, с.14). Очевидно, что "жесткие системы" Малиновского совпадают у нас с системами преобладающих интраверсии (на Востоке), а "дискретные" — экстраверсии-дифференциации (на Западе). Так вот оказывается, что упрощение способно быть конструктивным и организующим только в дискретных (каков у нас Запад) системах, поскольку лишь они "позволяют осуществлять комбинарику и отбор" собственных элементов, тогда как жесткие системы "легко дезорганизуются при выпадении даже одного звена" (там же, с.16). Легко видеть теперь, почему одна и та же идея письменного закона противоположным образом проявила себя на Западе и на Востоке. Мы могли бы противопоставить способы упрощения в дискретных и жестких системах как "рационализацию" и "примитивизацию", как конструирующий прогресс и сокрушительный регресс.

Единственный путь прогресса для жестких систем есть, естественно, путь усложнения, который в свою очередь противопоказан системам дискретным — и без того слабо связанным, в которых он оборачивается дестабилизацией и угрозой полного распада. Уместно было бы характеризовать эти два типа усложнения как прогрессивное "развитие" и регрессивное "вырождение".

Заметим, что (как ни противно это оптимистическому мироощущению западного гуманизма) успех прогрессивной рационализации требует предшествующего себе далеко заходящего регрессивного вырождения: только оно делает систему достаточно дискретной. Но будучи необходимым, вырождение далеко не является достаточным условием рационализации. Оказались нежизнеспособными почти все некогда многочисленные и грозные державы индоевропейцев в Азии. Уцелел издревле переориентировавшийся на депотизм Иран и менее значительные конклавы. В уникальных условиях Индии кастовое вырождение продолжается до сих пор (внедрение

западной техники привело, например, к появлению касты шоферов, и, как невесело шутят социологи, эта каста грозит расколоться на подкасты водителей роллс-ройсов и бьюиков — с запрещением браков между их представителями), несмотря на все усилия официально демократического правительства, и никто не знает, когда будет найдено эффективное лекарство от этой страшной болезни, разлагающей страну.

По аналогичной причине эффективное развитие невозможно без предшествующей ему сокрушительной примитивизации. Конфуцианство приобрело высокий авторитет еще в до-цинскую эпоху, но оставалось утопией, пока ужасающая государственность "законников" не создала предпосылки для воплощения его в жизнь. И снова необходимость не означала достаточность. Во множестве восточных деспотий социалистическая мысль так и не перешагнула рамки утопии. Человеческие цивилизации еще крайне юны. Хорошее не просто трудно — отчаянно трудно для нас.

Тем важнее осознание нами азбучных истин цивилизации. Среди них — восточный характер России, слишком отчетливо подтвержденный историей. Россия сложилась в высочайше интегрированный комплекс в условиях отчаянной борьбы за существование на неудобообороняемой равнине при полном окружении иноверцами. Мы никогда не знали положительной "демократии" (плюс персонализма) в ее развитых формах, хотя наша воспитанная западными идеалами интеллигенция полтора столетия мученически боролась за их осуществление. Когда наконец к этой борьбе присоединился наш чисто восточный простой народ, ради которого интеллигенция вынесла непомерный свой подвиг, "демократия" немедля обернулась у нас, как ей и надлежало, кровавым безобразием (минус персонализма) и пожрала своих родителей. Не довольно ли с нас западных игр?

Ах, но мы так привыкли, что Запад — свет, а Восток — тьма, мы так боимся быть Востоком, — что о нас люди подумают! Полно, история — это минимум шесть тысяч лет развитых городских цивилизаций и только существенно меньше тысячи лет относительного культурного превосходства Запада, считая последние четыре столетия и еще меньший срок классической западной античности.

Ранее и в промежутках Запад — это тысячелетия ужасающей нищеты, невежества, голода, холода, грязи, вшей и болезней. И не шатается ли опять у нас на глазах вот-вот готовое рухнуть это пресловутое западное превосходство? Не посра-

мила ли уже восточнейшая Япония Запад в экономической игре по западным правилам? Не изумляет ли нас западный обыватель своим поистине уж дикарским невежеством и безмыслием? (Сухая статистика констатирует "функциональную неграмотность" не менее четверти (!) американских учителей — данные журнала "Таймс".) Да, эти люди цивилизованы в своих манерах, а мы полуозверели у себя в России. Но мы вырастили на выжженном месте и вопреки чудовищному государственному давлению несколько миллионов душ, творящих в себе подлинную культуру, в параллель которым вряд ли найдутся на Западе и тысячи! Мы уже начинаем свою культуру заново, тогда как Запад стоит на пороге неизбежного крушения ее традиционных форм, внутри уже сгнивших. Так нам ли оглядываться на Запад?

Печальный пример нашего неумного почтения к Западу — "правозащитное движение". Слов нет, само по себе требование к неправовому государству соблюдать свои собственные законы — отличный тактический ход! Неудобства, причиненные им нашему героическому начальству в разгар детантского танго, со счетов не скинуть. Но сводить к юридической игре всю стратегию борьбы с государством, находящимся по ту сторону всякой юрисдикции, — только прозападная голова могла вместить такое самоубийственное безумие!

Не ирония ли истории в том, что явно под "правозащитным" влиянием в нашу новую — брежневскую — конституцию открыто записали то, что содержалось только в тайных инструкциях к сталинской: что всевозможные в ней записанные "свободы" терпимы лишь, пока не препятствуют начальству одерживать все новые победы над народом — и ни на волос больше! Этого ли хотели "правозащитники"?

Допустим (хотя граничащий с чудом, но возможный — в истории все возможно!) абсолютный успех "правозащитников" — навязание ими советскому государству аккуратной западной юрисдикции. Очень полезно бы вспомнить, что блистательное римское право достигло своего окончательного формального совершенства в кодексе византийского деспота Юстиниана. Беда в том, что одновременно то было

уже совершенно мертвое — в великом своем конструктивном духе — право. Совершенно серьезно провозглашен был принцип: "Да свершится закон, и да погибнет вселенная!" И как крепко встала на окаменелом этом фундаменте, как аккуратно гнила Восточная Римская империя лишнюю почти тысячу лет после гибели Западной! Этого ли хотели бы для России "правозащитники"?

Нам говорят, что все подтоталитарные народы, включая китайцев, жаждут демократии и прозрачно намекают на специфическую русскую извращенность, толкающую нас к авторитарности. Я, надеюсь, не должен долго уверять читателя в своем глубочайшем уважении к классической китайской культуре. Тем не менее, я нахожу только естественным, что китайцы, которым тоже приходится заново начинать свою культуру (у которых за плечами куда меньший опыт "коммунизма" и куда больший опыт положительной традиции), дезориентированы еще больше нас и совсем не в том месте ищут благие примеры. Что касается восточно-европейских сателлитов СССР, то националистические эмоции, в них слишком естественные, властно толкают их к Западу, как толкнули бы даже к Хомейни, будь он способен дать им надежду на избавление от "старшего брата". Тем замечательнее, что лозунгом "пражской весны" стал все-таки "социализм с человеческим лицом". Анализ экономической программы этого движения показывает, что речь шла о передаче производства в руки коллективов трудящихся, т.е., по крайней мере в этом немаловажном пункте, просто о социализме.

Как в самом деле прикажете поступить с заводами и фабриками, когда "коммунистические" режимы наконец рухнут? Продать капиталистам? У кого столько денег? Иностранцам что ли продавать? Самый простой здравый смысл и тот толкает нас в социалистическом направлении.

Многих смутит принцип "правления лучших". Как отличить лучших? Кто будут судьи? Эта задача выглядит — и действительно такова — утопически неразрешимой в условиях персоналистического развала общества на Западе. И на Вос-

токе она будет, по крайней мере поначалу, нелегкой проблемой. Корень ее — не в технических деталях, но в духовном единстве общества, предполагающем национальное возрождение в единой вере.

Может ли стать этой верой христианство? Сомнительно. Огромно различие сегодня и двухтысячелетнего вчера. Огромна инерция прошлого в христианстве. Крах тысячелетних культур, выросших на развалинах евразийской античности, есть, очевидно, и крах питавших их религий. Впрочем, невозможно, рассуждая рационально, одновременно становиться в позу пророка. Факт истории, что древние религии способны возрождаться в новых условиях (как индуизм, некогда почти вытесненный в Индии буддизмом, как конфуцианство, почти уничтоженное в Китае иноземными влияниями эпохи Тан), инкорпорируя в себя положительное содержание новых учений и верований, враждебных узкой традиции старых. Но даже нового учения, которое могло бы инкорпорировать в себя христианство и им омолодиться, не видно пока. Тем более должны мы сознать веление времени как требование нового поиска Бога, как необходимость синтеза огромных ценностей, накопленных великими культурами Евразии, и нового прозрения, способного обнаружить единство, скрытое за их внешней пестротой.

Быть может, удастся нам и синтез восточного и западного типов свободы — произойдет же он когда-нибудь. Быть может, не зря поставила нас судьба меж Европой и Азией — всем родичами, всем чужими. Быть может, чтобы стать вполне и самобытно культурными людьми, мы должны стать вселюдьми. Я не осмелюсь ни утверждать, ни отрицать это наше предназначение. Но в любом случае мы должны начать с осознания преобладающего в нас восточного потенциала.

Социализм тревожил воображение человека от зари цивилизации как высший мыслимый тип свободы. Неудачливыми аналогами Конфуция были величайшие философы Запада — Сократ и Платон. К социализму тяготело раннее христианство, а позднее ислам. Социалистическая мечта вдохновляла на Западе Возрождение и Просвещение. Социализмом бредят университеты Запада — страшно и кроваво, но не по

его вине. К социализму в 1917 г. рванулись измученные русские люди. Не их вина, что они частью обманулись, частью оказались обманутыми новыми шан-яновцами. Доныне смысла понятия "социализм" не раскрыли для себя профессора, — что же говорить о неграмотном в ту пору большинстве русского народа!

Нет ничего неформальнее, — естественнее социализма. Социализм не требует считать людей "равными от природы", каковыми не являются они в вопиющей степени. Ироничнее всего (еще одно "исправление имени"), что социализм и есть демократия — без кавычек. Кто сказал, что "лучшие народа" не есть народ, но народом является "масса", разложившаяся силой исторических обстоятельств до уровня "суверенных личностей"?

Нет ничего естественнее социализма потому еще, что главный путь подъема всякой организации ведет через усложнение — до такой степени, что в глазах человека с улицы другого способа прогресса просто не существует. Усложнение, правда, технически неспособно быть прогрессивным неограниченно долго, и рано или поздно обрывается переусложнением и дестабилизацией вырождения. В свою очередь, выручает из вырождения конструктивно упрощающая рационализация, так же переходящая со временем в примитивизацию, — снова подготавливающую возможность развития. Так происходит, во всяком случае, в системах, отлаженных достаточно долгим временем, каковыми являются, например, биологические. Уже цитированный выше Малиновский констатирует правильное периодическое чередование жестких и дискретных систем от одного к другому уровням организма. Жестко построена иерархия ядра и плазмы в клетке; дискретна система клеток одной ткани; жестко связаны различные ткани; дискретно построены парные и множественные органы; жестко связаны системы органов: нервная, кровеносная, выделительная и т.д. (там же, с.17).

В строении организма запечатлена, таким образом, история закономерно чередовавшихся фаз развития и рационализации, а, значит, также преодоленных ими примитивизации и вырождения. Хуже обстоит дело с цивилизациями, слишком еще юными и перекошенными либо на интраверсию-интеграцию на Востоке, либо на экстраверсию-дифференциацию на Западе. Но и тут нам повезло, ибо наш тип перекоса лишил нас только много менее важного способа прогресса — упрощения. Как говорит Малиновский, "повышение организации достигается, как правило, путем жесткого сочетания взаимодополняющих элементов системы, как это мы видим в органе зрения (хрусталик и сетчатка), структуре сердца и т.д." (там же, с.16).

Заметим, что "индивидуалистический" Запад с его идеалом экстенсивного развития личности так же враждебен подлинной самобытной индивидуальности, как однородная ткань, чьи клетки нормально безиндивидуальны. Специализация профессий, развитая на Западе более, чем в большинстве восточных обществ, есть специализация чисто внешняя — деловая, для-денежная; придя домой со службы, ее сбрасывают, наподобие рабочего комбинезона. Поэтому личность в полном смысле слова — личность мудреца — неизвестна на Западе в зрелые периоды его цивилизации. Словно в пику самодовольно-пошлым западным разглагольствованиям о неразвитой на Востоке личности читаем у Конфуция: "Если говорить о высочайших, то ученый не подданный даже для сына неба; если сказать о более низких, то ученый не работает и на правителей. Внимательный и спокойный, он превыше всего ставит широту души... Даже получив в удел царские земли, он не ставит это ни в грош. Не подданный он и не служилый..." (Древнекитайская философия. М., 1973, т.2, с.139). Кто на Западе осмеливался заявлять что-либо подобное?

Но — возразят — эта титаническая независимость конфуцианского мудреца была куплена безграничным смирением простого люда, склоняющегося перед мудрецом, как трава под ветром. Так. Но неужели не было своего благородного достоинства в том, чтобы знать свое место, определенное, кстати, собственными талантами и усилиями к их развитию? Неужели достойнее убеждение, что "ни одна блоха не плоха", коль скоро уродилась она в человеческом облике? Правда, что в неформальной демократии есть собственный элемент несвободы, выступающий для нас тем более выпукло, что Запад приучил нас к несвободе прямо обратного типа. Я тем не менее решительно утверждаю — вслед за величайшими философами Запада Сократом и Платоном, — что (до тех пор, пока не найден синтез типов свободы Востока и Запада) "справедливее худшим находиться в подчинении у лучших"!

Нынче на Восток поворачиваются Бог и история. Я не хочу этим сказать, что социализм — подарок нам, уже припасенный в мешке у истории. Социализм придется строить и в

себе, что потруднее, чем строить домны и плотины. Успех или поражение будут зависеть только от нас и от нашей веры в Бога — самую не-“демократическую” ценность человечества. Но это единственный на ближайшие века реальный положительный шанс истории. Достойных человека альтернатив ему сейчас просто нет.



Наум ФРАЙБЕРГ

НАРОДНОЕ ГОСУДАРСТВО

Издание автора

Автор пытается объяснить сущность современного социализма и его воплощение в облике народного государства. Такое государство неизбежно возникает на определенной ступени развития человечества.

Анализируя сущность Советской власти, автор стремится показать, что советская теория и практика находятся в полном противоречии с основными концепциями марксизма.

Цена брошюры \$2.50, включая пересылку.

Чеки и мани-ордеры высылайте по адресу:

NAUM FRAYBERG

1246 42 street BROOKLYN NEW YORK

11219



МАРРАН

ЛИКИ РУССКОЙ ИДЕИ

Пытаясь отразить некоторые тенденции в современном русском национальном сознании, я в качестве исходного материала взял наиболее интересные и характерные, на мой взгляд, факты отечественной культурной и общественной жизни одного лишь 1980 года. Так что статья приобрела издавна знакомую русской словесности форму годичного обозрения.

В скованной цензурными запретами нашей российской культуре иногда случаются странные всплески свободной мысли и чувства. На киноэкран, заполненный историко-революционными боевиками, душещипательными бытовыми драмами и милицейскими детективами, в течение 1980 г. проникли три глубоких и острых (а остро все, что выходит за рамки канона, — нетривиальность, вызов) фильма.

Зимой мы посмотрели социальную сатиру Эльдара Рязанова "Гараж", летом — наполненную эсхатологическим отчаянием картину Андрея Тарковского "Сталкер", осенью — сделанную Никитой Михалковым экранизацию романа Гончарова "Несколько дней из жизни И.И.Обломова". Об этой последней работе и пойдет речь.

Поставленный с утонченным режиссерским мастерством, с привлечением первоклассных актеров (Обломов — Олег Табаков, Захар — Андрей Попов), проникнутый ностальгическим любованием дворянским бытом, культурой, сладостной тоской по ушедшему золотому веку, словно по ушедшему чистому детству души, фильм содержит в себе довольно четкую авторскую концепцию, сформулированную самим Михалковым. "Читая внимательно роман Гончарова, — говорит он, — нельзя не заметить... что автор целиком на стороне Обломова, что он любит его. Со школы нас приучили считать, будто Обломов — это диван, халат, тапочки; Штольц — деловой, положительный человек, а Ольга Ильинская — чуть ли не будущая революционерка" (цит. по журналу "Искусство кино", 1980, №6).

Режиссер полагает, что актуальность "обломовщины" кончилась. Ее порок сменился пороком штольцевщины. Он в расчётливости, в общении с человеком, пока тот нужен. Таков Штольц. Поэтому главная проблема — проблема штольцевщины.

Но это верхний, прямо ощущаемый слой авторских размышлений о современном мире. Есть и другой, не сразу бросающийся в глаза. "Обломова мы намеренно романтизировали, — говорит далее Михалков, — по-новому взглянули на этот характер. Человека, не сделавшего в своей жизни зла, подобно Илье Ильичу, уже можно считать принесшим добро. Обломов не принимает участия в жизненной суете Штольцев не потому, что он бездельник, просто у него другая, органичная для него связь с окружающим миром"...

Какая же это связь? Обратимся к одному из ключевых для понимания авторского замысла эпизодов картины — сцене в бане. Вот они сидят вдвоем — два старых друга — Штольц и Обломов, распаренные, убогатворенные и, завернувшись в простыни, попивают квас, размышляя меж тем о смысле жизни. Один — мускулистый, поджарый, как молодой волк, готовый глотать дымящееся мясо жизни, потреблять, создавать и снова потреблять. Другой — расплывшийся, белокожий, с заметным брюшком на женственно округлом теле. С блаженной полуулыбкой на добром лице, устремив вдаль меч-

тательный взгляд голубых глаз, он говорит о том, что все вот вокруг задаются вопросом, как жить, а зачем жить — никто не думает. Он сравнивает себя с листом на дереве, что существует неотделимо от ствола и корней. В таком осознании своего слияния с природой, ощущении себя частицей народного тела, альтернативном индивидуалистическому мирозерцанию Штольца, уже проглядывает определенная нравственно-философская позиция, отнюдь не новая в истории русской общественной мысли.

От славянофилов к народникам и далее к современным националистическим кругам, все более активно формирующимся как в России, так и за рубежом, в эмиграции, тянется нить размышлений вокруг русского и западного национальных типов. Этот извечный контрапункт "мы и они", где унижение паче гордости и недостатки оборачиваются достоинствами.

"Мы не красноречивы, не умеем изъясняться, а они — речисты, смелы на язык, на речи бранные, "лаяльные", колкие. Мы косны разумом и просты сердцем; они исполнены всяких хитростей... Мы просто говорим и мыслим, просто и поступаем, поссоримся и помиримся; они скрытны, притворны, злопамятны"... Это Ключевский излагает трактат Юрия Крижанича, первого российского славянофила. Написано в 17-ом веке, но как современно звучит, как актуально это общественное умонастроение. В фильме Михалкова с особой силой оно выражается в сцене проводов юного Штольца.

Зимний деревенский пейзаж. С крыльца барского дома спускается пожилой, но еще полный сил человек — Иван Богданович Штольц — "агроном, технолог, учитель", управляющий именем. Он провожает в город сына, повторяющего его резкими чертами волевого лица, уверенностью движений. Сцена театральна и вместе с тем публицистична по мысли, остроте нравственного осуждения.

Короткое родительское напутствие:

— До Петербурга доехать тебе денег хватит. Потом — как хочешь, если понадобится посоветоваться, зайди к Рейнгольду, он научит... Мы вместе из Саксонии пришли. У него четырехэтажный дом. Я тебе адрес скажу.

— Не надо, не говори. Я пойду к нему, когда у меня будет четырехэтажный дом, а теперь обойдусь без него.

Смешок. Крепкое похлопывание по плечу. Молодой человек, поджав губы, садится на лошадь. Сейчас он навсегда уедет из родного дома. Его останавливает крик-рыдание старухи из толпы стоящих поодаль дворовых: "Батюшка, ты, светик. Сиротка бедный... Дай я хоть перекрещу тебя, красавец мой!" (Зритель, читавший роман, вспомнит, что Штольц немец лишь наполовину, его русская мать умерла.) Мальчик в слезах бросается в объятия старухи. Отец, не оборачиваясь, медленно уходит в дом.

Сколько надменности в этой сцене, почти проходной и незаметной в романе и такой принципиально важной в фильме. Сколько внутреннего отталкивания и осуждения другого характера отношений, стремления отказать чужому даже в обыкновенных человеческих чувствах, наконец, традиционного, чисто формального, а вернее, конформного восприятия иного национального типа! Если немец, то сухарь; поляк — гоноровый; француз — стрекулист. Да, мы, русские, не деловиты и не больно-то учены, но мы чисты, добры, человечны, открыты всякому искреннему чувству и не боимся проявления такого чувства. С тем, мол, нас и возьмите — об этом не только вышеприведенная сцена, но и вся линия Обломова — этой "голубиной" души.

Собственно, и в 19-ом веке славянофильская критика усматривала в образе Обломова черты положительного, коренного и вечного русского национального типа. Так почему же один из самых талантливых, на мой взгляд, режиссеров советского кино, блестяще зарекомендовавший себя полным экзистенциальным трагизмом фильмом "Неоконченная пьеса для механического пианино", на нынешнем этапе своего творческого пути обращается к размышлениям о национальном типе, к извечному спору, уже не одно столетие идущему в русской общественной жизни? Задаваясь подобным вопросом, мы переходим к главному предмету нашей статьи — анализу некоторых тенденций в современном русском национальном сознании.

Незадолго перед выходом на экраны фильма Михалкова

издательство "Искусство" впервые за годы советской власти выпустило в Москве собрание сочинений одного из отцов российского славянофильства Ивана Киреевского.* Появление этой книжки, естественно, можно приветствовать, как редкую в Советском Союзе попытку дать широкому читателю представление о сложных духовных процессах, происходивших в России 19-го века, дополнив тем самым плоское и прискучившее всем хрестоматийное изложение взглядов Белинского, Чернышевского и Добролюбова. Но, помимо этого, в данном случае был сделан пусть и небольшой шаг, но шаг к удовлетворению истинных интеллектуальных потребностей общества. А потребности эти весьма остры и целенаправлены.

Шесть с половиной десятилетий существования советской государственной системы не оставили у русского человека никаких сомнений по поводу способностей этой системы удовлетворить его материальные и духовные запросы. Если еще в 20-х — начале 30-х годов можно было говорить о неких социалистических идеалах, экономических и политических иллюзиях, то по прошествии тридцати шести лет после окончания войны, когда у государства были все возможности наладить в стране нормальную человеческую жизнь, выполнить свои многочисленные обещания, — практически никаких надежд на лучшее будущее не осталось.

Углубляющийся продовольственный кризис, обострение международной обстановки, растущий общественный цинизм и коррупция при полной выхолощенности официальной идеологии — все это заставляет людей искать опору в своем национальном чувстве, в национальной истории, национальном единении.

"Да, пусть все идет к такой матери, — слышу я в автобусе негромкий разговор двух подвыпивших мужчин среднего слоя.— Но мы-то русские, и это остается".

*Когда работал над этой статьей, узнал, что редакция "Фило-софского наследия" приняла решение об издании, тоже впервые при советской власти, трехтомника сочинений Владимира Сергеевича Соловьева. Наконец-то!

И партийно-государственная верхушка страны, осознавая глубину и массовость подобного общественного настроения и в сущности разделяя его (ведь большинство членов ЦК, работников центрального аппарата — русские), по-своему стремится идти ему навстречу. Этим стремлением продиктовано уже второе за последние шесть лет постановление ЦК партии и Совета Министров СССР о развитии сельского хозяйства нечерноземной зоны РСФСР — исторического центра русской нации.

Можно, конечно, сказать: по какому же вопросу хозяйственной и социальной жизни в Советском Союзе не выпускаются подобные постановления? Но барабанный бой, который поднимают вокруг именно этих мер органы пропаганды, постоянное подчеркивание их важности в выступлениях Брежнева, сравнение с главным внутривластным событием хрущевской эры — подъемом Казахской целины — все должно убеждать: речь идет об историческом долге нашего поколения, о возрождении земли, на которой зародились русская культура и русская государственность. Не азиатские степи распахируем, а поднимаем исконно русские земли — в этом главная акция брежневского режима.

Правда, средства, выделяемые на аграрно-экономические и социальные нужды этих краев смехотворны в сопоставлении с объявленными целями — 30 миллиардов рублей на 29 областей за пятилетку. На освоение модели военного самолета, наверное, уходит больше. Да и эти-то средства, как ни скрывает советская печать, не осваиваются. Такими ничтожными усилиями, с помощью таких незначительных в масштабе государства затрат, пытаться вернуть к жизни вымирающие среднерусские села, сделать плодородной истощенную многолетним экстенсивным земледелием почву, — все равно что припрягать комара к увязшей в болоте телеге, когда и трактора мало. Но ведь счет идет не по шкале реальных ценностей, реальной отдачи. Акция, скорее, пропагандистская, чем хозяйственная. Главное — объявить намерение, и какое ведь благородное намерение, идущее навстречу исконным национальным чаяниям! А выполнять? Когда же здесь выполнялись добрые намерения, ими ведь вымощена дорога в ад.

Вот почему партийное постановление о подъеме Нечерноземья можно считать, скорее, политической декларацией, чем экономической программой, и соответственно рассматривать его в ряду общественных документов укрепляющегося русского национализма.

Продолжим, однако, этот ряд, и обратимся к документам более чем столетней давности — статьям Ивана Киреевского. Читая их глазами современного человека, привыкшего к хамским выходкам наших шовинистов с их истерическим патриотизмом, резким, непримиримым тоном, поражаешься чистоте нравственного чувства автора, благороднейшему идеализму, возвращенному в элитарной среде культурного русского дворянства. Вместе с тем только в тиши помещичьей усадьбы, в уединенном, расположенном рядом с Оптиной пустыней родовом Долбино могло возникнуть такое иллюзорное представление о прошлом своего народа, такое бесконечно далекое от реальной жизни его видение. Национальное прекрасное подчас заводит Киреевского так далеко, что даже его единомышленник Хомяков в ответ на соображения о том, что "христианское учение выражалось в чистоте и в полноте во всем объеме общественного и частного быта древнерусского", саркастически замечает: "Такая похвала уже слишком непомерна для земли, князя которой не только беспрестанно губили ее своими междоусобьями, но еще без стыда и совести опустошали ее мечом, огнем, разбоем союзников, магометан и язычников."

Характерно и другое: тонкие умозаключения, интересный анализ истоков европейской культуры непременно сводятся все к тому же противопоставлению: "Мы и Они". "Там движение ума к истине, — подводит итог Киреевский, — посредством логического сцепления понятий — здесь стремление к ней посредством внутреннего возвышения самосознания к сердечной цельности и средоточению разума... Там — склонность права к справедливости внешней — здесь предпочтение внутренней... Там прихоть моды — здесь твердость быта; там шаткость личной самозаконности — здесь крепость семейных и общественных связей; там щеголеватость роскоши — здесь

простота жизненных потребностей и бодрость нравственного мужества”.

Словом, все тот же спор, все то же знакомое нам столкновение образов холодного немецкого умника и широкого доброго русского человека, которое проходит через российскую словесность на протяжении нескольких веков.

Более внимательный анализ главной статьи Киреевского "О характере просвещения Европы", в которой с наибольшей полнотой выражено его славянофильское умонастроение, заставляет задуматься о некоторых закономерностях западного и российского духовного развития. Видимо, на определенном историческом этапе своей жизни любое культурное общество проходит путь от веры в образованность, знание как источники усовершенствования человеческих отношений, к известному рода разочарованию в этих рычагах прогресса и обращению к нравственному самосознанию. Но если на Западе такое настроение приводило к поискам духовной опоры в самой личности, ее внутреннем мире, внутренних ценностях, то в России нравственные чувства отождествлялись с национальным и нравственные ценности отыскивались в теле нации. В одном случае это рождало экзистенциализм, в другом — славянофильство. Кьеркегор был лишь на семь лет моложе Киреевского.

Не хочу увлекаться историческими аналогиями, но метания между экзистенциальным и национальным характерны и сейчас для лучших представителей русской творческой интеллигенции, разумеется, в тех случаях, когда она хоть как-то может выразить свои чувства и мысли. И в этом отношении путь Михалкова от картины "Неоконченная пьеса для механического пианино" к фильму "Несколько дней из жизни И.И.Обломова" закономерен.

Мне могут возразить: разве для западных обществ не свойственны проявления национализма? Конечно, свойственны, и в очень большой степени. Но там — это явление носит в большей степени функциональный характер. Французский шовинист ненавидит бошей, английский — презирает французов. Корни этих эмоций легко прощупываются в многовековом соперничестве стран, как военном, так и мирном. К тому

же в обычное время подобные чувства свойственны в основном мещанским слоям. Там шовинизм — патриотизм лавочников. В России же обостренное национальное чувство — явление всеобъемлющее, всепоглощающее. Оно охватывает великих национальных мыслителей, приводя их к уверенности в исключительности русского народа, его богоизбранности и вместе с тем к презрению по отношению к покоренным нациям.

По мере выхода тома за томом полного собрания сочинений Достоевского (в 1980 г. издан "Дневник писателя"), знакомства массового читателя с публицистикой русского гения, Боже мой, сколько же открывается в нем болезненного национального самолюбия, высокомерного презрения к инородцам.

Отождествление зла с чужеродным, а добра — со своим национальным началом — такая манихейская нравственная поляризация проявляется и в современной русской исторической литературе, исторической публицистике, поток которой заметно усилился в связи с празднованием в сентябре 1980 г. 600-летия со дня Куликовской битвы — события, положившего начало русской государственности.

Образцом такого рода неославянофильской литературы может служить роман-эссе Владимира Чивилихина "Память", публиковавшийся с 8-го по 11-й номер журнала "Наш современник" за 1980 г. Мне не представляется необходимым сколько-нибудь подробно анализировать это многословное произведение, написанное с тем особым трагическим надрывом, который усвоили себе русские писатели-почвенники, когда они повествуют о прошлом своего народа.

Общая концепция романа вполне укладывается в привычную националистическую схему, где, с одной стороны, древняя Русь, к которой можно смело отнести приведенные выше слова Киреевского о христианском учении, во всей полноте выраженном в народном быте, а с другой — отвратительные и злобные язычники-монголы (сюжетным стержнем романа служит татарское нашествие). Размалевывая со щедростью лубочного художника одних своих героев в белый, а других в черный цвет (особую авторскую ненависть вызывает Батый),

писатель тем не менее осознает необходимость сосредоточить полемический огонь на ком-то из своих современников. (Роман изобилует многочисленными публицистическими размышлениями). Причем противником себе он избирает не какого-нибудь американского или западногерманского профессора, сторонника, скажем, норманнской теории происхождения княжеской власти на Руси, а своего отечественного крамольника.

Объектом для подобного рода критических упражнений Чивилихина стал известный историк и этнограф Лев Гумилев,* рассматривающий Золотую Орду как союз немногочисленных пришлых монголов и раздираемых усобицами русских княжеств. В такой позиции, в которой ощутим отзвук евразийских воззрений русских историков-эмигрантов 20-х годов, в нынешних условиях содержится подспудное отрицание хрестоматийной концепции татарского ига как главной причины многовековой отсталости России. И Чивилихин, усматривая в этом попытку ущемить русское национальное достоинство, обрушивает на своего противника всю силу своего шовинистического негодования, обвиняя его в недостатке патриотизма.

Надо сказать, что подобное стремление искать причины своих бед в дурном влиянии других народов вообще характерная черта русского национализма. Исследуя это явление, мы неизбежно подходим к ключевому вопросу нынешней российской общественной жизни, истокам большевизма и Октября. Этот вопрос сейчас неотступно преследует каждого мыслящего человека. Даже во время просмотра фильма Михалкова, впитывая в себя прелести буколического деревенского существования, любясь голубиной сутью национального характера, выраженного в образе Обломова, про-

* Лев Николаевич Гумилев — сын Николая Гумилева и Анны Ахматовой провел много лет в сталинских лагерях. Специалист по истории среднеазиатского этногенеза великой степи. Автор биолого-географической концепции этнической истории, не укладывающейся в рамки марксистских схем. Анфан террибл советской исторической науки.

никакая размышлениями о чистоте народной души, вдруг ловишь себя на обжигающей мысли: как же это из недр такой мягкой, доброй и открытой души родилось чудовище государства Российского, нашего отечественного империализма, не забывающего в течение всей своей истории прибирать к рукам то Среднюю Азию, то Прибалтику, то Афганистан. Ну, а революция со всеми последующими трагедиями сталинизма, что она тоже порождение народной души? Попытка затронуть эти болезненные вопросы нашей современности заставляет перейти к анализу одного из наиболее сложных, противоречивых и талантливых литературных произведений 1980 г. — повести Валентина Катаева "Уже написан Вертер", опубликованной в "Новом мире".

В этой совсем небольшой — всего 33 журнальных страницы — повести 83-летний писатель обращается к теме, которая проходит через все его произведения последних лет — Одесса, революция. Более того, сюжет как бы позаимствован из другой, 15-летней давности его повести "Трава забвения". Одна из сюжетных линий там выглядит примерно так: девушка из совпартшколы, невеста бывшего офицера, участника белогвардейского заговора, выдает его ЧК на расстрел, от которого он чудом спасается.

В "Вертере" герой этой истории проходит через весьма характерную трансформацию. Спасшийся офицер теперь уже не тоняга-артиллерист, каким он предстает в "Траве забвения", а неудачливый художник, слабый и в сущности почти не замешанный в заговоре. Его мать Лариса Германовна, пожилая интеллигентная дама, умирает, сраженная известием о смерти сына (аналогичная ситуация есть в "Траве забвения"). Умирает не просто так, а оставив записку: "Будьте вы все прокляты!"

Все герои подчеркнута принижены, деромантизированы. Им всем отпущена мера авторского сожаления и презрения, но мера эта разная.

Девушка из совпартшколы. Где там "маленькая голодная царевна", "изящная точеная головка" (эпитеты из "Травы забвения")? Романтическая маска отброшена. Здесь она питерская горничная, ушедшая в революцию, вульгарная,

коротконогая, похотливая сука с сильными руками прачки. Весь заряд ненависти к городской толпе, истеричной, легковерной, жестокой толпе, растоптавшей изощренную культуру русского серебряного века, в которую тайно и остро было влюблено поколение Катаева, его литературные сверстники, вложил писатель в этот образ. От повести к повести меняются не только персонажи истории одного расстрела, но и само ощущение событий времени. В "Траве забвения" революция хотя страшна, но справедлива. "Вертер" же до глубины, до каждой строчки пронизан каким-то личным, пережитым ощущением чудовищной несправедливости, творимой революцией, ужаса перед насилием и бесправием, неизменно сопутствующими ей.

Я не держу. Иди благовтори.
 Ступай к другим. Уже написан "Вертер".
 А в наши дни и воздух пахнет смертью.
 Открыть окно, что жилы отворить.

Из этих пастернаковских строк взято название повести.

Кроме девушки из совпартшколы, есть еще один персонаж, трансформация которого имеет принципиальное значение для понимания мировоззрения автора. Ее покровитель теперь уже не провинциальный портной с истерзанными страстями плебейским лицом, ставший начальником оперативно-секретной части ЧК, а председатель губчк Макс Маркин — еврей-политкаторжанин.

Этот Маркин "с его неистребимым местечковым жаргонным выговором" стоит как бы в основании иерархической пирамиды евреев-революционеров. Выше — маньяк-убийца, присланный из центра особо уполномоченный по чистке органов Наум Бесстрашный "с толстыми слюнявыми губами порочного переростка", за которым угадывается вполне конкретный исторический образ Блюмкина. Еще выше — знаменитый хищный профиль в пенсне Льва Давидовича Троцкого, постоянным упоминанием, мрачной тенью присутствующего в повести как воплощение пиковой точки всего этого безумного мира, которому умирая, посылает проклятья несчастная Лариса Германовна. Они-то, эти дети местечка, ставшие "ка-

рающими мечами революции", и царствуют в повести, управляют революционной толпой, состоящей из одесского жлобы и питерских горничных, китайцев и латышей.

Что ж, право художника видеть революцию со всеми ее ужасами как результат союза городского люмпена и еврейского фанатика, так же как его право отпустить этим фанатикам полной мерой, вплоть до физиологического антисемитизма, свое отвращение и презрение. Тем более что подобная концепция стала расхожей монетой современного русского национализма и находит все большее распространение во всех его общественных слоях. И если стихийный манихеец, человек толпы, ограничивается утверждением: "Революцию жида сделали", то в среднеинтеллигентской среде проводятся подсчеты евреев — членов большевистских ЦК первых революционных лет. Известно, что из 246 человек так называемых творцов Октября, входивших в шесть составов ЦК с апреля 1917 по апрель 1922 г., евреев было 16,6%, или 41 человек.

В слоях высоколбой интеллигенции такая концепция облекается в более изысканные духовные одежды. Борис Парамонов, к примеру, в опубликованной в журнале "Континент" статье "Парадоксы и комплексы Александра Янова", где он демонстрирует всю полноту современного славянофильского видения истории, признавая глубокую корневую сущность фашизма, большевизму в корнях, в принадлежности к национальной почве отказывает. "Корневая русская власть, — пишет он, — не нуждалась бы в физическом уничтожении среды своего "местопребывания". Насильничество идет как раз от ее чуждости почве — нет у нее иных способов удержаться в чужой геополитической среде".

Все-таки поразительно это национальное ослепление, это извечное стремление искать источники бед своей родины в чужом, инородном начале — в монголах, немцах, евреях. Ну ладно, даже если принять весьма сомнительный цифровой метод оценки исторических явлений, о котором шла речь выше, то и тогда, куда уйти от факта, что 55% тех же творцов Октября все же русские. А как быть с меньшевиками, которые, как известно, пытались увлечь Россию совсем по другому историческому пути. Там ведь тоже было немало евреев:

Мартов, Либер, Дан — имена не менее известные в революционном движении, чем Троцкий, Зиновьев, Каменев.

Но дело, разумеется, не только в национальной раскладке лидеров. Объективный анализ ситуации, складывавшейся в 1917 г., заставляет понять, что успехи большевиков могли возникнуть лишь на базе эксплуатации уже сложившихся народных настроений и чаяний. Знаменитые лозунги большевизма, обеспечившие ему приход к власти: "Немедленный мир", "Захват земли революционным путем" — закономерно трансформировались в народном сознании в долгожданные анархические призывы: "Мир по телеграфу", "Грабь награбленное". Это означало: взводом, ротой, прямо с позиций домой, да поскорее, чтобы успеть захватить землю, разгромить помещичью усадьбу. Что там с Россией будет, это их господское дело, а до моего уезда далеко. И большевики прекрасно понимали и использовали это настроение.

Россия была чревата Октябрем задолго до его рождения. Ибо Октябрь — это сочетание традиционного крестьянского бунта, уходящего своими корнями в страшную историческую глубь, в истоки национального характера, и деятельности группы политических экстремистов, которые также появились в результате длительного исторического процесса.

В традиции советской исторической науки принято выводить родословную большевиков от народовольцев и разночинцев-шестидесятников. От Герцена к Желябову, от Плеханова к Ленину. Я же, когда читаю прекраснотушные патристические размышления гуманнейшего барина Киреевского о сердечной цельности и внутренней, а отнюдь не внешней, формальной, как на Западе, справедливости, свойственной русскому народу, провижу его дальних потомков с их так называемой классовой, а отнюдь не общечеловеческой правдой, утверждаемой в разоряемой коллективизацией деревне, в лагерях, на лесоповале. Там, где ищут сердечного согласия между правительством и народом, обретут диктатуру, террор. Пусть "холоден, сух, формален западный закон с его логическим сцеплением понятий", но ведь только под его сенью и возможно обсуждение судеб России, что идет за рубежом. Только он и дает то, чего у нас никогда не было — демокра-

тию со всеми ее минусами, так умело подмечаемыми русской общественной мыслью со времен Герцена.

Октябрь зарождался и проходил в теле нашем, и большевизм такое же его органическое порождение, как и все другие стабильные политические группировки и партии — от черносотенцев до кадетов. Отделять в угоду исторической схеме одно дитя от материнского тела, признавать его незаконно рожденным, а то и подброшенным из другой семьи, по меньшей мере, недобросовестно. Другой вопрос, что это национальное тело в течение столетий было хребтом огромной империи, которая завоевывала и подвергала дискриминации десятки народов. Мера этой дискриминации в значительной степени определяла их революционную активность. И, конечно же, евреи с их национальным темпераментом, традиционными мессианскими чаяниями, перерождавшимися в социалистические идеалы, были среди самых активных. Но их участие, в сущности, ничего не могло изменить в характере революции, в ее стихийности и жестокости. И взваливать на хилые плечи местечкового юноши ответственность за чекистский террор, за разгром русской культуры (кстати, еврейская культура подверглась такому же разгрому), фиксировать внимание на его шепелявом выговоре и нечистой коже, значит потакать самым низменным антисемитским инстинктам современного российского мещанства.

Но Катаев с его тонким художественным видением действительности, отточенным литературным мастерством, рассчитывал не на советского мещанина, воспитанного на детективах и военных мемуарах. И не благоволение чиновничьих аппаратных кругов имел он в виду, понимая, что этот слой отпугнет ярко выраженная антиреволюционная направленность повести, слабо закамуфлированная в редакционном предисловии ссылками на троцкизм как на причину террора. Умный и наблюдательный человек, он сознает, что единственной реальной общественно-культурной силой современной России является националистически настроенная интеллигенция, выразителем интересов которой служит деревенская литературная школа и примыкающая к ней группа славянофильствующих публицистов и критиков. Старому писателю с его

выжженной временем душой, с его жизнью, прожитой в безвоздушном, бескорневом духовном пространстве, наполненном воспоминаниями об утраченной культуре и страхами перед чугунным катком официальных идеологических догм, хочется примкнуть к этой силе, обрести себя в национальном литературном движении.

Он уже пытался заигрывать с ними, кричать: "Я русский, русский, русский!", — опубликовав несколько лет назад документальную повесть о своих предках, среди которых оказался даже казачий полковник Бачей. Так нет, не помогает, не принимают. Он чужд им своей литературной изощренностью, принадлежностью к ненавистной одесской школе, потенциальным жидовством. И вот очередной шаг, очередной жест... В какой мере это органично для него, насколько естественно такое мировоззрение? Что здесь — обострение национального чувства, как это часто бывает на пороге смерти, или очередной литературно-политический фокус старого приспособленца? Кто знает, кто поймет глубины чужой человеческой души, возвращенной во лжи и страхе?

Размышляя над явлениями общественной жизни России последних десятилетий, нельзя не заметить эволюцию, которую претерпело за это время русское национальное сознание. Будучи приглушенным, ушедшим в духовное подполье в 20—30-е годы — период распространения догматического большевистского интернационализма, — национальное чувство было сознательно вызвано на поверхность в начале 40-х годов как средство консолидации народа во время войны. Извечное противопоставление национальных типов русского и немца, свойственное русской культуре, теперь эксплуатировалось в военной пропаганде, использовалось в литературе и искусстве, стало оружием поэтов и художников-карикатуристов, олицетворявших его в образах русского Ивана и немецкого Ганса.

Сталинский тост: "Я пью за русский народ!" — возвестил миру, что русская национальная идея удочерена советской официальной идеологией и в мирное время. Результатом этого союза стали борьба с космополитизмом, утверждение приоритета русской науки и другие такого же рода цветы последнего этапа сталинской эры.

В период оттепели и последующие годы хрущевского правления возник известного рода идеологический плюрализм, выразившийся в позициях ведущих литературных журналов. Если "Новый мир", редактируемый Твардовским, отражал гуманитарно-либеральную тенденцию обновления режима, то "Октябрь" во главе с Кочетовым проповедывал мрачный партийный консерватизм, без примеси, однако, шовинизма. Но все более укреплялась и проявляла себя в литературе национальная линия, организационно оформившаяся в журналах "Наш современник" и "Молодая гвардия" и ставшая главной, самодовлеющей в современной духовной жизни.

В отличие от послевоенных лет русская национально-патриотическая идея в нынешнем ее преломлении включает в себя скрытое или явное противопоставление большевистскому режиму, укрепляющееся в союзе ряда ее представителей с исповедующими те же воззрения эмигрантскими кругами (подобный союз — явление доселе небывалое в советской истории). Разгром дореволюционной национальной культуры, уничтожение в период коллективизации деревни, преследование религии — все это справедливо ставится в вину советской власти лучшими и наиболее активными деятелями национальных кругов. А среди них, опять-таки в отличие от послевоенных лет, не бездарные, искусственно возносимые официальной идеологией писатели типа Бубеннова, Бабаевского, Софронова, а такие серьезные, субъективно честные и талантливые писатели, как Распутин, Абрамов, Белов. Они обладают не мнимой, раздуваемой органами пропаганды, а истинной народной популярностью, свидетельством чему служат читательские конференции по их книгам, зачитывание до дыр журнала "Наш современник" и многие другие факты.

Состав этого круга творческой интеллигенции, однако, весьма разнообразен. К нему примыкают немало бездарных политиканствующих литераторов, критиков, художников и других деятелей искусства, составляющих охвостье постепенно формирующейся национальной партии. Вместе с тем мировоззрение даже лучших ее представителей сложно и противоречиво. Знание хозяйственной жизни современной русской деревни, понимание ее нужд переходит в ностальгическое пре-

клонение перед крестьянством, как носителем высших национальных нравственных ценностей. Здоровый негативизм по отношению к государственной системе, неприятие революции со всеми ее роковыми последствиями оборачивается попытками свалить ответственность за эти события на инородцев, представить основные факты современной истории чуждыми национальному духу. Отрицание схематических концепций шестидесятников, как и всего выхолощенного, вульгарно-материалистического представления о духовной жизни 19-го века, приводит к некритическому усвоению славянофильских воззрений, идеализации старины.

В результате, процесс восстановления русской культурной традиции, свидетелями которого мы являемся, происходит с националистическим перекосом, забвением того факта, что на последнем своем предреволюционном этапе русская культура, как никогда, жадно впитывала ценности культуры мировой, выражением чего и был прерванный революцией российский духовный ренессанс. И сознательная духовная изоляция, противопоставление русского национального типа, русских духовных ценностей западным, к чему так склонны наши шовинистические круги, отнюдь не обогащают отечественную культуру, и так обедненную многолетней политической изоляцией.

Характерно, что в рамках советской системы русская культура не могла не оказать определенного и часто благотворного воздействия на литературу и искусство других наций. Свидетельством тому служит творчество Фазила Искандера, Василя Быкова, Чингиза Айтматова, которые, хотя и пишут на русском языке, вместе с тем сохраняют и довольно выпукло воспроизводят своеобразие национального типа своих народов. Более того, в таком слиянии культур рождается осмысление действительности, вчерашнего и сегодняшнего дня страны, лишенное комплекса национальной исключительности и несущее в себе заряд гуманных идей.*

*Взаимопроникновение и обогащение культур, разумеется, не является отличительной чертой советской государственной системы. Те же киргизы или абхазцы воспринимали бы ценности более развитых культур и в случае, если бы они обладали своей государственностью. Ведь обогащалась же русская культура 18-го века за счет европейской.

Обратимся для иллюстрации этой мысли к опубликованному в 1980 г. в 11-ом номере "Нового мира" роману Чингиза Айтматова "И дольше века длится день". При том, что материал романа глубоко национален (в центре его образ казаха Едигея — железнодорожного рабочего в пустынной азиатской степи), что все в нем пронизано ориентальным колоритом, насыщенно восточным эпосом, органично вплетающимся в современное действие, здоровому народному началу, — олицетворение которого Едигей, — противопоставляется не другая нация, а зловещая сила огромной империи с ее космическими, военными и другими государственными амбициями. Космодром отнимает у Едигея право похоронить друга на старинном племенном кладбище. Сталинский террор, воплощением которого является следователь-казах, отнимает другого близкого ему человека. Конфликт проходит не по линии межнациональных столкновений, как у Катаева, Чивилихина, а внутри личности.

И в этом отношении поучительна в романе легенда о Манкурте, — человеку, у которого враги путем мучительной операции отнимают память, человеческое достоинство, личность. В потере личности трагедия современников Едигея, исполнительного городского чиновника — сына покойного Казангапа, кречетоголового следователя.

Откуда такая наднациональность мышления, такая широкая общечеловеческая гуманитарность в исследовании нравственных проблем современности? Ведь казалось бы, представителю небольшого азиатского народа (Айтматов — киргиз), испытывающему давление русской культуры, русской правительственной идеологии, ощущающему, как постепенно размывается национальное ядро его народа, — быть в большей степени озабоченному его судьбой, чем русскому писателю судьбой своего народа. Но в том-то и дело, что русскому народу, оказавшемуся в роли завоевателя, победителя, приходится дорого платить за свою победу.

Когда обитатель калужских, тульских или других коренных русских мест попадает в Узбекистан или в ту же айтматовскую Киргизию с их сохраненными мусульманством патриархальностью, дисциплиной бытовых отношений, тесными

родовыми и семейными связями, многолюдными богатыми селами и не потерявшими с ними связь городами, он, сравнивая увиденное со своими разоренными безлюдными деревнями и голодными городами, начинает тосковать по национальной консолидации, национальной компактности. И немилы становятся ему необъятные просторы империи, завоеванной его отцами, теми же калужскими и тульскими крестьянами, все эти "самые крупные в мире" гидростанции, заводы и другие "новостройки коммунизма", которых, чем больше, тем голоднее живет русскому человеку. Дорог же ему, этому человеку, свой национальный очаг, остывающий и искусственно подогреваемый националистическим сознанием. Этот очаг по-настоящему может быть создан в результате распада огромной лоскутной советской империи и организации русской демократичной федеративной республики, пусть и с включением в себя отдельных обрусевших народностей, но оставляющей в покое в рамках их собственной государственности и прибалтов, и кавказцев, и азиатов. Может быть, в рамках такой республики, занятой своими национальными заботами, меньше будет почвы для шовинистических умонастроений, сведения исторических счетов и чище, богаче и своеобразнее станет национальная культура. Но, разумеется, понимаю, такая республика — сейчас политическая утопия. Впрочем, кто знает, что ждет нас за поворотом истории?

Вольфганг ШТРАУС

ДОСТОЕВСКИЙ И ЗАПАД *

Перевод с немецкого Юрия Иофе

В ноябре 1977 г. по 1-ой программе западногерманского телевидения демонстрировался фильм "Бесы", в четырех частях. Фильм был поставлен по одноименному роману Федора Достоевского. Этот фильм — пророчество политического гангстеризма, рожденное из ужаса перед надвигающейся материалистической революцией. Исполнители главных ролей, так сказать, заимствовали у Достоевского подлинную жизнь: современники служили писателю образцами морального разложения, идеологического безумия. Исходя из христианской и русской патриотической позиций, Достоевский написал классический обвинительный акт против зла своего времени: атеизма, эгоизма, отчужденности народа, заносчивости аристократии. Николай Ставрогин, считал Томас Манн, — "самая зловеще привлекательная фигура в мировой литературе", — воплощает в себе анархиста Михаила Бакунина, тогда как террорист Петр Верховенский — это жуткая карикатура на профессионального революционера и человеконенавистника Сергея Нечаева.

*Статья печатается с сокращениями.

Не лишен исторической иронии и тот факт, что произведения "антисоциалиста" Достоевского очутились на сценах советских театров, а издания его произведений после смерти Сталина достигли тиража около 20 миллионов экземпляров. В 1977 г. под покровительством Академии наук было предпринято полное тридцатитомное собрание сочинений Достоевского, включающее переписку. Русский, по преимуществу, христианский писатель стал наиболее читаемым автором в атеистическом обществе.

ЖЕСТОКИЙ ТАЛАНТ

Глубочайший психолог, Достоевский сделал воистину эпохальное открытие: психические процессы нашего сознания представляют собой не более чем тонкую "культурную" пленку над темным потоком атавистического подсознания, глубины которого питают наши моральные поступки. На этом основан пессимизм писателя по отношению к прогрессу.

Анализируя чувственные, политические и духовные страсти, этот гениальный, раздерганный, борющийся русский, заключенный в тройном аду сладострастия, азартной игры и атеизма, прорубил — задолго до Зигмунда Фрейда — глубокую шахту к этим "низким" или "постыдным" инстинктам клокочущего подсознания.

Творчество Достоевского явилось литературно-психологическим предвосхищением научного психоанализа. И, кроме того, в творчестве Достоевского — ключ к пониманию того, что под названием "большевизм" постигло в 1917 г. Россию, а затем и Восточную Европу.

Немало современников писателя ошибалось в своих суждениях о будущности философии Достоевского, в оценке его произведений, его идеалов. Н.К.Михайловский назвал талант Достоевского жестоким.

Гений Достоевского, игнорируя рамки времени, взрывает социальную обусловленность и политическую конъюнктуру. Идеология может меняться — человек же, каким его видел и представил Достоевский, — неизменен.

Творчество Достоевского пережило и закат эпохи царизма, и краткосрочную русскую демократию 1917 г., и ужасы гражданской войны, и эру сталинского ГУЛАГа. Оно созвучно и нашему времени. Слава Достоевского, как некий метафизический феникс, восстает из обломков систем и режимов, и его присутствие, как ничье иное, ощутимо на пороге 21-го столетия.

Потерю исторического самосознания Солженицын назвал национальной болезнью, вызванной "импортом" марксистской идеологии. Общественное самосознание, по Солженицыну, содержит в себе моральное начало, этическую силу, и никто, желающий жить, не вправе пренебрегать этим.

В послесталинскую эпоху процесс возврата к национальным корням России и русского достиг значительного размаха. Возрождение Достоевского — интегральная часть этого исторического процесса. Назад к собственным, почвенным истокам — вот призыв современных славянофилов; он же означает и "назад к Достоевскому". "Так осуществляется возрождение великого национального писателя" (Солженицын), невзирая на все социальные, экономические, политические, технологические, военные переломы, выстраданные Россией после 28 января 1881 г. — дня смерти Достоевского.

ТРАГЕДИЯ СВОБОДЫ

В связи со 150-летием со дня рождения писателя, семь лет назад, немецкая славистка Эллен фон Сахно пыталась исследовать феномены духовной и этической динамичности Достоевского. Она вспоминает молодого писателя — социал-утописта, снискавшего своим романом "Бедные люди" восторг и социалистов и радикал-либералов. Этот роман излучал детскую веру во всевластие добра, а значит, в мир, счастье и справедливость на земле. Здесь Достоевский соответствовал прогрессивным течениям современности. При всей нищете, описанной Достоевским, он выступает как социальный бунтовщик, как исторический оптимист. Человек априори хорош. Не существует врожденной извечной тьмы, неизбежной судьбы, неразрешимой трагедии.

Однако Достоевский после каторги и ссылки был уже иным, обогащенным новым познанием — страшным познанием. Нет, не зловещая комедия повешения на Семеновском плацу, не она, а сибирский "мертвый дом", пережитый им среди уголовников, отверженных и политзаключенных, стал ключевым событием его жизни.

Эллен фон Сахно указывает на глубинные изменения, происшедшие в Достоевском, цитируя его "Записки из подполья" (написанные три года спустя после "Записок из Мертвого дома"). Она рассуждает: "То было время великих реформ. Как раз отменили крепостное право. На каждом русском лице, так сказать, отсвечивалась радуга сладких надежд. Но Достоевский, чей бедный, униженный и оскорбленный герой только что обрел свободу, этот Достоевский неожиданно объявил, что не такую свободу имел он в виду. Ему мерещилась совсем другая свобода... Герой подполья знал лишь один полюс существования — знаменитый содомский идеал, но не ведал другого полюса — идеала Богоматери, спасения. Но там, где художник разуверяется во всеобщем счастье, в надежности земного бытия, — там начинается философия трагедии".

В "Записках из подполья" говорит подлинный, великий и донныне действующий Достоевский. Итак, бунтарь восстал против собственного прошлого. Против веры своей юности, которую он разоблачил как мираж, как анемичную утопию, как атеистическое грядущее. Не в одном лишь царском деспотизме видел великий писатель заклятого врага людей, он обнаружил его и в деспотизме просвещения — в социализме и либерализме западной чеканки. Эллен фон Сахно писала в 1971 г.: "Оптимистически-революционное мировоззрение прибрало зло прямо-таки, как комнату, объявив, что человек от природы хорош. Зло стало рассматриваться как нечто чисто внешнее, чисто социальное. Зло — в окружающем мире, в среде — она-то и делает человека дурным. Это зло можно смыть мылом социализма. Теперь Достоевский и слышать об этом ничего не хотел. Он не мыслит зла, равно как и добра, без свободы. Свобода иррациональна, она может принести с собой как добро, так и зло. В этом — ее трагедия.

Отсюда ненависть Достоевского к любой насильственной гармонии, будь то католицизм Великого инквизитора в "Братьях Карамазовых" или социализм "Бесов".

"Записки из подполья" были нацелены против материалистической теории тогдашних российских марксистов. Атаке Достоевского подвергся и Чернышевский, чей утопический роман "Что делать" стал впоследствии настольной книгой молодого Ленина.

"Чернышевский — единственный великий русский писатель, который сумел остаться начиная с 50-х годов до 1888 г. на уровне последовательного материализма", — писал Ленин.

Достоевский издевался над модным "философским материализмом" прогрессивных деятелей, чей социализм провозглашал "равенство в зависти и пищеварении". Бывший социал-утопист окончательно порвал со своим прошлым. Теперь его идеал свободы стал диаметрально противоположен всякому социализму. Первым это распознал Фридрих Ницше, испытавший на себе огромное влияние Достоевского.

ДОСТОЕВСКИЙ И НИЦШЕ

Фридрих Ницше — духовный последователь Достоевского — одним из первых предугадал эпохальное значение великого русского писателя.

В "Сумерках богов" Ницше непосредственно ссылается на образы Достоевского. "Сколько радостной юности, сколько неиспользованных сил было похерено и погибло в этих стенах... Эти разнесчастные парни были, возможно, сильнейшими и на тот или иной лад способнейшими представителями своего народа. Однако все физические и духовные силы пропали зря. Чья это была ошибка?" Цитата (дана в обратном переводе с немецкого, -Ю.И.) взята из "Записок мертвого дома", написанных в 1861 г. Каторжный мир, описанный Достоевским, во многом напоминает нам "Один день Ивана Денисовича" Солженицына.

Александр Второй (его убили народовольцы в год смерти Достоевского) плакал, читая "Записки из Мертвого дома". Эти "Записки" дали Ницше повод к замечанию о том, что

выведенный Достоевским безжалостно рассеченный тип — это "тип сильного человека в неблагоприятных условиях, это — до болезненности доведенный сильный человек".

Ганс Петер Клаузеницер — немецкий критик Достоевского — писал в 1971 г.: "Сильное впечатление произвела на Ницше тяга Достоевского к религии. Самоутверждение с помощью независимой воли человека "как проявление всей жизни" — так это звучит у Достоевского в его "Зимних заметках о летних впечатлениях". То, что Достоевский обозначил как основной стимул иррациональной природы человека, Ницше назвал "волей к власти".

Наконец, следует подчеркнуть еще одну параллель между Ницше и Достоевским — резкое осуждение ими научного социализма, — читай — марксизма. Оба они считали его философией обезчеловеченного мира. В 1887 г. в своей "Воле к власти" Ницше замечает: "Социализм — как доведенная до предела тирания ничтожнейших и бездарнейших, то есть поверхностных, завистливых и на три четверти комедиантов, — является на деле следствием "современных идей". Просто в тепличной атмосфере демократического существования притупляется способность человека прийти к выводам. Слушают, но более не слышат. Вот почему социализм в целом — безнадежное, тухлое предприятие. И нет ничего забавнее, чем наблюдать стычки ядовитых и отчаявшихся гримас, кои корчат социалисты. О сколь жалких, подавленных чувствах свидетельствует уже сам их облик! И нет ничего забавнее, чем наблюдать овечье счастье их надежд и вожделений".

Полный предчувствий, возвещает Ницше приближение эпохи терроризма: "В будущем столетии то тут, то там будет основательно бурчать в животе. Парижская коммуна, у которой и в Германии нашлись свои заступники, была, возможно, лишь легким несварением желудка в сравнении с тем, что грядет..."

Влияние Достоевского на немецкую культуру не ограничивается одним лишь Ницше. Писатели бюргерской Германии — сейсмографы декаданса — все они узнавали себя в гротескных героях Достоевского. Его творения бросили им вызов: любовь или ненависть, почитание или проклятие. "Для того

чтобы освободиться от имперского воздуха Германии, я советую читать Евангелие от Карамазовых", — писал в одном из своих писем в 1911 г. Христиан Моргенштерн.

Как прообраз для своего (интеллигентного) черта в "Докторе Фаустусе" Томас Манн избрал одновременно и земного и демонического сатану из "Братьев Карамазовых". "Достоевский был первым психологом в мировой литературе", — читаем мы в "Соображениях одного неpolitика". Эти слова перекликаются с характеристикой Стефана Цвейга (в его биографии Достоевского): "Никто не поднял столько целины в человеческой душе, как эта одержимая личность".

Гуго Гофмансталь страдал от лихорадочной взвинченности героев Достоевского; Германн Гессе стал пленником "музыки этого страшного и прекрасного писателя", он любил "его утешения, его любовь, чудесную суть его пугающего и подчас адского мира". По поводу князя Мышкина Гессе рассуждает: "Его мышление я называю магическим. Он, этот мягкосердечный идиот, отвергает всю жизнь, все мысли и чувства всех окружающих его людей. Для него действительность — это нечто совсем иное, нежели для них... Тем самым он "открывает" новую действительность и требует, чтобы она наступила, и становится врагом всех этих "прочих".

Достоевский открыл немецким писателям и мыслителям иную Россию, находящуюся по ту сторону жандармского произвола, — духовно-религиозную, истинную Россию. Под влиянием России Достоевского родились многие произведения, посвященные писателю: Стефан Цвейг писал о нем в "Звездных часах человечества" и "Трех мастерах". В 1939 г. Романо Гардини посвятил писателю эссе "Религиозные образы Достоевского", Германн Гессе отразил влияние Достоевского в работе "Братья Карамазовы, или закат Европы".

ФРЕЙД ПРОТИВ ДОСТОЕВСКОГО

Однако Достоевский нашел в Германии не только единомышленников, К наиболее резким критикам писателя относится Ганс Петер Клаузеницер. По его мнению, Достоевский излучает "специфически классовую", обусловленную

временем "мелкобуржуазную стихию": "Тайные пороки, воплощенные в правдоподобных характерах насильников и себялюбцев, — вот что сделало произведения Достоевского столь популярными".

Все же Клаузеницер признает: показ Достоевским человеческой природы, вивисекция героев и палачей (задатки тех и других совмещены в одних и тех же характерах), открытие им возможности извращения человеческой души, дремлющего в подсознании влечения к разрушению и самоистреблению — все это помогает нам понять истоки деградации личности не только в современной Достоевскому России, но и значительно позже, в сталинское время.

Жестокий приговор Достоевскому пытался вынести Зигмунд Фрейд. "После отчаянной борьбы, после попыток примирить инстинктивные порывы личности с требованиями человеческого общества, он (Достоевский) приходит к благоговению перед царем, христианским Богом и бездушным русским национализмом".

На фоне возрождения Достоевского в современной России слова Фрейда оборачиваются не более чем насмешкой истории. "Из Достоевского не вышло учителя и освободителя человечества, он примкнул к его тюремщикам, культурное будущее будет ему не слишком благодарно...", — писал Фрейд в трактате об отцеубийстве.

Но нет, Достоевский сегодня не на стороне тюремщиков, и культурное будущее русского народа без него вообще немыслимо.

Правда, Достоевский с его религиозностью, аскетизмом, самопожертвованием, любовью к России противостоит современному Западу с его космополитизмом, с его неукротимой жаждой потребления. Религиозно-национальная нравственность русского писателя не могла сосуществовать с лишенным этических ценностей научным оптимизмом Фрейда. Достоевский и Фрейд — это по существу разные миры, и в их фундаментальной полярности идей никакая конвергенция невозможна.

СОВРЕМЕННЫЕ БЕСЫ

Известно, что Достоевский читал французских авторов в подлиннике. Задолго до Пруста он, этот русский писатель, которого многие образованные французы сочли бы слишком русским, слишком алогичным, слишком неразумным, как это сформулировал Андре Жид, создал искусство "внутреннего монолога" в романе.

В искусстве "лихорадочного обострения" и драматизации внутреннего монолога Достоевский и поныне никем не превзойден. Может быть, поэтому Жид назвал его "полыхающим пламенем". Сам Пруст восхищался женскими образами Достоевского, образами униженных и святых, проституток и матерей, любящих и жертвующих.

В пятитомном романе "В поисках утраченного времени" есть такое место: "Его женщины (они столь же своеобразны, как женщины Рембрандта) со своими таинственными лицами и притягательной внешностью вдруг превращаются (вроде бы они до этого играли комедию доброты) в невероятно заносчивые существа (хотя все еще представляется, что они по своей сути — добрые), но тем не менее они остаются сами собой".

Почти в канун нового столетия появляется первый французский перевод "Братьев Карамазовых". Однако в этом переводе оказалась опущенной сердцевина романа, в которой заключено кредо Достоевского, — разговор со старцем Зосимой. Десять лет спустя, в 1908 г. Андре Жид писал: "Достоевский — это источник, из которого Европа утоляет свою жажду. Он занимает теперь место, которое при жизни занимали Ибсен, Ницше, Толстой... Необходимо, однако, заметить, что при первой встрече с Достоевским французы чувствуют себя неприятно задетыми".

Я хотел бы привести теперь слова Альбера Камю из "Мифа о Сизифе". "Несомненно, никто не пытался придать этому абсурдному миру столь убедительную и столь мучительную прелесть в той мере, как это сделал Достоевский". Последней работой Камю была театральная инсценировка "Бесов" — трагедия добросовестного убийцы в 22-х сценах. В ней вы-

ступают приверженцы Нечаева, вошедшие в историю под именем "нигилистов" и ставшие предтечей ленинцев. Терроризм не может отречься от традиции.

Об истоках терроризма когда-то писал Достоевский, его линию сегодня продолжает экзистенциалист Альбер Камю.

"Интеллигент никогда не является истинным революционером", — говорит коммунист-практик в произведении Жана Поля Сартра "Грязные руки". Это значит, что Ставрогин никогда не станет истинным революционером. Истинные революционеры — это Верховенские. Строителям гулаговской империи предшествовали гулаговские философы, ибо грязные руки — порождение грязных замыслов.

Сам Сартр — экзистенциалист-безбожник и антипод Достоевского — поселил героев своей трагедии в некой вымышленной "Иллирии". С равным успехом местом действия мог бы стать Ленинград, Берлин или Будапешт. Сартр гениально доводит до логического конца политический нигилизм, против которого предостерегал Достоевский. Но сама жизнь Сартра как раз воплощает в себе основные элементы современного нигилизма: разобщенность и отсутствие корней, преступление без наказания, свобода без счастья, политика без гуманности, гуманность без солидарности, искусство без Бога — человек проклят быть свободным, утверждает Сартр. Духовная смерть — это логическое следствие самораскрепощения, "освобождения" от человеческой сущности и религии. Своей личностью Сартр как бы утверждает апокалипсис русских.

В пьесе Эжена Ионеско "Бесплатные убийцы" действуют словно ожившие герои Достоевского. Вот он снова перед нами, один из "бесов" Достоевского, со всем своим интеллектуальным высокомерием и слепой готовностью к разрушению. Он глух к доводам человечности и обуян ледяным огнем истребления. Хладнокровный убийца и вечный насмешник, он посещает "сияющий город" и убивает тайного приверженца террористов, ибо революция бесов преследует лишь одну единственную цель: смерть. Террор — самоцель, фетиш. Смерть — диктатор. Казнь — партийный ритуал. Поскольку Бога нет, то все позволено. Так говорит Достоевский.

Свобода, отрицающая Бога, пожирает самое себя.

Послушаем теперь одного из представителей новой философии — немецкого биографа Маркса Фрица Раддаца. Вот одна из его оценок: "Карл Маркс — основатель архипелага ГУЛАГ. Карл Маркс — зачинатель духовной несвободы. Карл Маркс — вот зло, — он, а не Сталин". Если этот тезис верен, если, следовательно, атеистический коммунизм Маркса должно рассматривать как первоисточник организованного садизма, то верно и то, что открывателя этого зла зовут Федором Достоевским.

"Разум — это тоталитаризм", — утверждает Бернард Анри Леви в своем эссе "Варвары с человеческим лицом". Это эссе вышло в немецком переводе под тем же названием. Достоевский страстно боролся против слепого поклонения логике, против прогресса без Бога и наперекор Богу, против возведения науки в абсолют. Как человеконенавистническую философию клеймит в "Бесах" русский писатель "научный социализм". По Глюксманну, именно эта философия непосредственно приводит в ленинско-сталинские концлагеря.

И еще один наследник Достоевского — теперь уже в Польше — Лешек Колаковский. "Когда отомрет священный язык и исчезнут наследственные мифы, — пишет он, — их место займет не просвещенный пошлый разум, нет, вместо них появятся ужасающие светские карикатуры на мифы, точно Бог еще раз пожелает покарать свой род за служение идолам".

Подобная карикатура на христианский миф, согласно Колаковскому, и есть марксизм с его варварским самообожествлением под маской прогресса. Бесклассовое общество, утопия о всемирной коммунистической империи, — это наказание, которым Бог покарал людей. Покарал за идолопоклонство, которому, как пишет Солженицын, за 60 лет принесено в жертву 66 миллионов человеческих жизней.

Любопытна сама жизнь и судьба Лешека Колаковского. В прошлом коммунист, он испытывал все большую тягу к христианской этике. Его интересует (совсем в духе Достоевского!) проникновение в человеческую жизнь с помощью Бога и религии. "Вопрос о смысле жизни, роль зла в истории, реальность трагического начала — все это, по словам Кола-

ковского, — великий русский писатель принес в мировую литературу и возвел в ранг центральной проблемы человеческого бытия. Марксизм отмечает эти вопросы. Хуже того: объявляет их классово обусловленным пережитком.

Но и как теория исторического развития марксизм совершенно несостоятелен. Прежде всего в истории огромную роль играют обстоятельства, которые Маркс игнорирует. "Целые области бытия он либо вовсе не принимает во внимание, либо же рассматривает как общественно обусловленные: роль географических, демографических и биологических факторов, роль секса, смерти, агрессии", — так пишет Герд Клаус Кальтенбруннер в работе "Критик Карла Маркса Лешек Колаковский". Польский философ, по мнению Кальтенбруннера, доказывает, что существует непрерывность между Марксом и Сталиным, ведущая к инсценированным процессам и архипелагу ГУЛАГ. Трагическое начало органически присуще человечеству. И, скорее, конфликт между ценностями, а не их гармония поддерживает жизнь нашей культуры.

Итак, что же говорит русский христианский писатель прошлого столетия Западу? Этот вопрос задал Эжен Ионеско на конференции, организованной "Континентом" в начале сентября 1977 г. в Париже. На этой конференции присутствовали не только русские диссиденты, но и представители французской "новой философии". Сейчас много рассуждают о Человеке, но существует ли вообще Человек на Западе? "Свободны ли мы, имеем ли корни? Не должны ли мы все начать с самого начала?" В ответ на это Александр Пятигорский — философ и писатель, эмигрировавший несколько лет назад из России, заметил: "Человек должен освободить сам себя. Общество на это не способно, а освобождение отдельного человека осуществимо только через веру в Бога. Пора покончить с иллюзией, что свобода явится к нашим диссидентам с Запада!"

А в те же дни мюнхенский поэт номер один Константин Веккер исполнял в одном из западногерманских театров варьете балладу "Я живу всегда на пляже". В балладе знако-

мая ставрогинская мысль: "Я б хотел совершить нечто злое, что осталось бы в наших веках". Раскольников у Достоевского хотел того же.

Многочисленные формы циничной бесчеловечности, в которые погружен наш век, — следствие безверия и забвения христианской морали. Но этому забвению порой способствует и сама церковь. "Церковь оглохла, — пишет Лешек Колаковский. — Она пустилась впускать со временем, она возжелала стать прогрессивной, продуктивной, натренированной, моторизованной, научной. Христиане более не страшатся ни неверия, ни ереси. Единственно, что их пугает, — это как бы их кто не высмеял за их отсталые, средневековые воззрения".

Пророческое апокалиптическое предостережение Федора Достоевского о самоистреблении человечества из-за безбожия, распространенного в псевдохристианском обществе... Неужели Запад не внял ему? А если не внял, то как же может такой Запад оказать помощь борющимся и жертвующим собой христианам Востока?

В издательстве "Эрмитаж" вышла книга
Беллы Езерской
"МАСТЕРА"

Белла Езерская — журналист и театральный критик — широко известна читателям по своим блестящим выступлениям на страницах русскоязычной прессы.

В книгу включены интервью с М.Ростроповичем, Г.Вишневской, Э.Неизвестным, И.Бродским, И.Шенкером и другими выдающимися деятелями русской культуры в изгнании.

"Среди интервьюированных мною людей не было диссидентов в прямом смысле слова. Это были люди искусства. Они мечтали об одном: свободно творить. Как могли, они охраняли свой талант от посягательств режима.

Некоторые из них — Ростропович, Вишневская, Неизвестный — принадлежали к советской художественной элите; другие прошли тернистый путь самоутверждения, прежде чем добились общественного признания. Но на каком-то этапе они все сочли для себя противостественной, аморальной жизнь в советском обществе...

И обнаружилась поразительная закономерность: цвет, гордость и слава русской культуры оказались в эмиграции. Каждый из тех, с кем мне пришлось беседовать, оказался в оппозиции к коммунистическому режиму".

Книга Беллы Езерской — своеобразный художественно-политический документ, который с интересом и волнением прочтут все, кому дорога русская культура. Она отлично иллюстрирована и оформлена (художник Илья ШЕНКЕР).

Цена книги — 9 долларов, включая пересылку.

Чеки и мани-ордера направлять по адресу:

B.EZERSKY
359 MADISON STR., APT.2-B
NEW-YORK, NEW-YORK 10002

ОДИН ВЕЧЕР С ИОСИФОМ БРОДСКИМ

Интервью Беллы Езерской с поэтом

Иосифом Бродским

Попасть в эту квартиру непросто. Нужно подняться по наружной лестнице старинного особняка, а потом спуститься вниз по узкой внутренней лестнице. Почему-то спуск занимает больше времени, чем подъем, так что создается впечатление, что жилище поэта находится в глубоком подвале, хотя это всего лишь первый этаж.

Бродский любит свою квартиру — "жилище анахорета" (как он ее называет), — оборудованную с максимальным удобством для работы и таковым же пренебрежением к требованиям моды и "хорошего тона". Тускло золотые корешки Брокгауза и Эфрона втиснуты в обнаженный кирпич стены; громадный старинный письменный стол завален бумагами. Традиционная зеленая пампа. Книги, рукописи, фотографии. Несколько крохотных пишущих машинок — русских и английских.

Опыт общения с поэтами у меня не так уж велик. Поэтому я несколько растерялась под вопрошающим взглядом Бродского. Но он охотно пришел мне на помощь.

Б р о д с к и й . И так, что это будет? Книга? Статья? Эссе?

Езерская. Книга. Сборник интервью с русскими мастерами в эмиграции.

Бродский. С кем?

Езерская. Вас интересует, кто, кроме вас, будет включен в сборник?

Бродский. Да нет, не особенно. У меня никаких предрешений нет.

Езерская. Если бы не Игорь Ефимов,* я никогда не обратилась бы к вам.

Бродский. Почему?

Езерская. О вас говорят, как о человеке высокомерном и недоступном, особенно для нашего брата-эмигранта.

Бродский. Во всяком случае телефон звонит, будто его только вчера изобрели. Я не знаю, сколько людей я вижу ежедневно. Если это называется "недоступностью"...

Езерская. ...то, что же тогда "доступность"?

Бродский. Да. Я не знаюсь только с негодьями. С заведомыми негодьями. Но даже в этом случае я стараюсь собственными глазами убедиться — так это, или нет. Правда, в последнее время я стал иногда отключать телефон, потому что просто бывает невозможно работать. А вообще-то... терпимости у меня навалом.

Езерская. В одном из интервью вы сказали, что вынуждены в эмиграции знать с такими людьми, с которыми дома и разговаривать бы не стали.

Бродский. Да. Половине из тех, с кем я общаюсь, выпадает роль улицы, двора.

Езерская. То есть вы сами отводите ей эту роль?

Бродский. Это примерно то же самое.

Езерская. Но качество общения, видимо, изменилось. Там вы нуждались в помощи, здесь люди ищут у вас помощи и поддержки. В большой концентрации это, видимо, утомительно?

Бродский. Люди находятся в чрезвычайно стесненных и напряженных обстоятельствах. То, как они ведут себя,

скорее характеризует обстоятельства, чем их самих.

Езерская. У них хватка утопающих.

Бродский. Ну и я та еще соломинка...

Езерская. Я бы сказала, что вы, скорее, бревно...

Бродский. Это вы хорошо сказали!

Езерская. Я хотела сказать, что на бревне хоть можно продержаться некоторое время наплаву.

Бродский. Нет, все правильно.

Езерская. Скажите, Иосиф, как это произошло, что вы как поэт расцвели и получили всеобщее признание в том вакууме, которым в общем-то является эмиграция?

Бродский. Начнем сначала. Я не думаю, что я особенно расцвел. Хотя, с другой стороны, не думаю, что и особенно увял. И вообще я не думаю, что эмиграция — это вакуум. Много зависит от того, к чему человек приучен, на что он рассчитывает, чего хочет. Если его деятельность зависит от немедленного отклика прессы или аплодисментов публики, то ему солоно приходится. Ничего этого не будет. Ни стадионов, ни концертных залов. Я лично никогда особенно не зависел, как мне кажется, от аудитории. Большой или малой. Поэтому для меня сокращение аудитории носило характер не столько качественный, сколько количественный. Потому что поэт (между прочим, поэт особенно) всегда имеет дело с очень ограниченным количеством читателей. И совершенно напрасно здесь некоторые собратья по перу задуряют людям голову, что мол там их на руках носили. В конце концов, это совершенно неважно: носили или не носили. Но если здесь это соображение начинает действовать на человека, то это совершенно губительно. Во всех нас есть элемент нарциссизма, больший или меньший. Его надо подавлять в себе, вместо того чтоб культивировать и засорять им и без того не очень гладкий процесс мышления. Эмиграция, знаете, начисто избавляет от нарциссизма. И в одном этом, на мой взгляд, уже есть ее достоинство. Жизнь в чуждой языковой среде, со всеми вытекающими последствиями — это испытание. Генрих Белль как-то записал в дневнике, что чем дальше письменный стол художника будет стоять от отечества, тем лучше для художника. Это, конечно, несколько элегантно выска-

*И.Ефимов — возглавляет издательство "Эрмитаж", друг Иосифа Бродского.

зывание; ему хорошо, он может двигать свой стол куда захочет, но все же в этом что-то есть.

Езерская. А мне кажется...

Бродский. ...что это "хорошая мина при плохой игре"?

Езерская. Скорее, самозащита.

Бродский. Не такая уж плохая самозащита, если она дает результаты. Это, во-первых. А во-вторых. Ну хорошо, Белль так считал. Но посмотрите, восемьдесят процентов того, что создано Цветаевой, создано за границей. Ну пусть не восемьдесят, но пятьдесят уж наверное. А уж тогда обстоятельства более напоминали то, что вы называли "вакуумом". Не было таких средств коммуникации, газет, радио. Я хочу сказать, что поскольку в вас живет язык, живет музыка этого языка, — это не улетучивается. Пока в вас есть ощущение, кто вы и что в вас самое существенное, — совершенно безразлично, где вы живете. Конечно, я колоссально завидую своим однокашникам, что они живут и сочиняют дома, где стены помогают и вообще — все помогает. Но здесь гораздо интересней в некотором роде. И больше куражу требуется. Потому что надо заниматься своим делом в таких в общем-то неблагоприятных обстоятельствах.

Езерская. Когда я говорила о вакууме, я имела в виду не только читательский, но и языковой вакуум.

Бродский. Для меня это не вакуум. Потому что (я возвращаюсь к тому, с чего мы начали: о моей "доступности" и "недоступности") я каждый день общаюсь с таким количеством соотечественников, с каким не общался до эмиграции.

Езерская. Вы — русский поэт, пишущий сложные, философские стихи. Труднодоступные неподготовленному читателю. Я сейчас становлюсь на точку зрения массового читателя, которому и вообще не до стихов, а в эмиграции — и подавно.

Бродский. Да, здесь больше пишущих, чем читающих.

Езерская. Вот именно. Так вот, в этой обстановке читательской инертности, с одной стороны, и ожесточенной борьбы за русскоязычного читателя — с другой, вы одерживаете одну блестящую победу за другой. Как вы сами это объ-

ясняете? Каков механизм вашего успеха?

Бродский. Никакого особенного механизма нет. Просто, если это действительно, так сказать, успех, то все объясняется простым фактом, а именно тем, что мои сочинения, статьи, стихи печатаются в англоязычной прессе довольно широко. И, видимо, не кажутся (я сужу хотя бы по этому) непонятными. Много значит хороший перевод. Мой учитель, поэт Давид Самойлов, говорил, что хороший перевод сохраняет семьдесят процентов подлинника. У меня хорошие переводчики, и я сам часто помогаю им. Конечно, в любом, даже самом совершенном переводе, вещь теряет. Ну что ж. Это все, что я могу сказать по этому поводу.

Езерская. Есть вообще поэты, не поддающиеся переводу. Пушкин, например.

Бродский. Последний перевод "Евгения Онегина" Джонстона — отличный.

Езерская. В рифму?

Бродский. Да еще в какую! Его можно в местной средней школе преподавать.

Езерская. Интересно: ваше признание как выдающегося русского поэта идет от англоязычного читателя и рикошетом — через прессу, радио, телевидение — до русского читателя. Получается примерно такая картина: "Бродского по телевидению показывали, в программе "60 минут". "Опять в "Нью-Йорк Таймс" статья о Бродском. Надо почитать, что же он там такое пишет".

Бродский. Да, примерно. Но я не вижу в этом ничего плохого.

Езерская. Это лишний раз подтверждает истину: нет пророка в своем отечестве. Говорят, вы очень не хотели уезжать?

Бродский. Я не очень хотел уезжать. Дело в том, что у меня долгое время сохранялась иллюзия, что, несмотря на все, я все же представляю собою некую ценность... для государства что ли. Что и м выгоднее будет меня оставить, сохранить, нежели выгнать. Глупо, конечно. Я себе дурил голову этими иллюзиями. Пока они у меня были, я не собирался уезжать. Но 10 мая 1972 года меня вызвали в ОВИР

и сказали, что им известно, что у меня есть израильский вызов. И что мне лучше уехать, иначе у меня начнутся неприятные времена. Вот так и сказали. Через три дня, когда я зашел за документами, все было готово. Я подумал, что, если я не уеду теперь, все, что мне останется, — это тюрьма, психушка, ссылка. Но я уже через это прошел, все это уже не дало бы мне ничего нового в смысле опыта. Я и уехал.

Езерская. Почему они избрали объектом травли именно вас, человека вполне аполитичного?

Бродский. Вы у них спросите! Откуда я знаю?! Я о них и думать не хочу.

Я прошу у поэта прощения за этот вопрос. Об этом трудно вспоминать. Но об этом нельзя и забывать. Фарс, именуемый "судом над тунеядцем Бродским", продемонстрировал миру маразм социалистической идеологии, врагом которой был объявлен Бродский. Я приведу только несколько строк из стенограммы суда, записанной и переданной на Запад мужественной женщиной, ныне покойной писательницей Фридой Вигдоровой.

Судья. Чем занимаетесь?

Бродский. Пишу стихи. Я полагаю.

Судья. Никаких "я полагаю"! Стойте как следует! Не прислоняйтесь к стенке! Смотрите на суд! Отвечайте как следует. Отвечайте, почему вы не работали?

Бродский. Я работал. Я писал стихи.

Судья. Нас это не интересует. Нас интересует, с какими учреждениями вы были связаны... И вообще, какая ваша специальность.

Бродский. Поэт. Поэт-переводчик.

Судья. А кто признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам?

Бродский. А кто причислил меня к роду человеческого?

Судья. Вы учились этому?

Бродский. Чему?

Судья. Чтобы быть поэтом? Пытались кончить вуз, где готовят, где учат...

Иосифа Бродского осудили на пять лет ссылки за тунеядство с применением обязательного труда, поскольку суд вынес решение, что он не является поэтом. Суд Дзержинского района города Ленинграда (судья Савельева) отказал в своем признании крупнейшему русскому поэту, чьим именем гордится русская литература, как гордится она именами

Блока и Маяковского, Пастернака и Мандельштама. Комментарии, как говорится, излишни. Тем не менее, свой следующий вопрос я задаю, основываясь на странном свойстве человеческой памяти — забывать все плохое.

Езерская. Вас не мучит ностальгия? Ведь это мина замедленного действия, а вы здесь достаточно давно.

Бродский. Мне трудно ответить на этот вопрос. Потому что если я и испытываю что-то, то это чувство настолько похоже на все остальные чувства, что выделить его в самостоятельное ощущение я не могу. Разумеется, мне не хватает чрезвычайно многого, я с удовольствием бы увиделся с друзьями и зажил бы там своей прежней жизнью. Не знаю... Вы спрашиваете об этом чувстве, как о чем-то специфическом, остром, превышающем все остальное?

Езерская. Нет. От ностальгии не умирают. Я спрашиваю об этом как о фоне, или, если хотите, обертоне вашей жизни.

Бродский. Я мог бы испытывать нечто похожее, если бы я занимался не знаю... ну чем-то совершенно отличным от того, чем занимался всю свою жизнь. Но поскольку я занимаюсь тем же самым и в условиях, как мне кажется, напоминающих те, в которых я занимался этим дома, то...

Езерская. Вы имеете в виду бытовые или творческие условия?

Бродский. Нет, именно бытовые: комната, письменный стол, книжки. Никакого разрыва нет. Абсолютно никакого. Как говорится, "продолжение следует". Всякая новая страна, в конечном счете, лишь продолжение пространства. Все зависит от того, как ведет себя человек в этом новом пространстве. Если он ведет себя качественно иным образом, он может вспоминать о своих былых делах, о своем былом интерьере с чувством потери. Для меня, повторяю, ощущение потери в общем снижено именно благодаря тому, что я занимаюсь тем же самым, чем занимался, сколько себя помню. Мне повезло еще в том смысле, что англоязычная культура мне никогда не была чужда. Еще живя в России, я много читал англоязычных поэтов, много переводил, так что переход этот в

общем для меня органичен. И позитивных ощущений у меня довольно много. Что касается негативных, то у меня, как у всякого человека, есть своя "квота негативных ощущений".

Е з е р с к а я . Она у вас заполнена, или нет?

Б р о д с к и й . Более или менее. Заполнена.

Е з е р с к а я . Изменилось ли ваше мироощущение с тех пор, как вы здесь?

Б р о д с к и й . Конечно. Я стал старше на девять лет. И некоторые вещи меня уже не так волнуют, как тогда. Человек доживает до перемены интересов, как до седых волос, как до морщин.

Е з е р с к а я . Как изменились ваши интересы?

Б р о д с к и й . Ну, например, меня интересовали, особенно в ту пору, личные взаимоотношения романтического или романтического, если хотите, характера. Сейчас превалируют интересы литературные, то есть мир идей. Поскольку здесь доступ к нему совершенно неограничен. Ну и литература на английском языке, русская литература, литература вообще. Каждый живет, как умеет. Одни живут, чтобы им сытно пожить было, другие, чтоб на старость капитал сколотить. Но есть незначительный процент людей, которые живут для того, чтоб читать и писать книги. Меня больше всего интересуют книжки. И что происходит с человеком во времени. Что время делает с ним. Как оно меняет его представления о ценностях. Как оно, в конечном счете, уподобляет человека себе.

Е з е р с к а я . А пространство?

Б р о д с к и й . Пространство человека себе не уподобляет.

Е з е р с к а я . А то, что произошло с нами, когда мы оказались по ту сторону океана, в другой стране, в другом по сути измерении?

Б р о д с к и й . Мы оказались в том же самом измерении. Думать иначе — значит дурить себе голову. У русского человека есть тенденция, мне она чрезвычайно знакома, — сваливать свои беды...

Е з е р с к а яна обстоятельства?

Б р о д с к и й . На обстоятельства. Прямо и косвенно. Чаще — прямо. Более идеальной обстановки, которая существ-

вует в Советском Союзе для человека бездеятельного, и представить себе невозможно. Что происходит с человеком здесь? Он начинает искать власть, начальников. Ему надо кому-то подчиниться, чтобы не нести ответственность за себя самого. Он не понимает, что дело не в обстоятельствах, не в начальниках, а в нем самом. Некоторых это совершенно сбивает с толку, пугает. Предъявить претензии к себе труднее, чем к кому или чему бы то ни было: другому времени, месту, стране. Это в общем вполне понятное, но не слишком серьезное отхождение.

Е з е р с к а я . А как вы лично вписались в американскую среду? Она вам созвучна?

Б р о д с к и й . Абсолютно созвучна. В той же самой степени, что и русская.

Е з е р с к а я . Вам не пришлось привыкать к образу мышления ваших американских друзей?

Б р о д с к и й . Нет, это им пришлось привыкать к моему образу мышления. Американцам действительно присущ более высокий уровень сдержанности и меньшая склонность к самопожертвованию, к раздиранию рубах на груди и посыпанию волос пеплом. Это кажется нам даже бессердечным, но, по крайней мере, избавляет нас от определенных разочарований, которые неизбежно возникают, когда тот самый человек, который рвал на себе рубашку и посыпал волосы пеплом, ничем не в состоянии тебе помочь. Поэтому лучше с порога знать, что ты ни на кого не можешь рассчитывать, кроме себя самого.

Е з е р с к а я . Это знание не обедняет ли ваших контактов?

Б р о д с к и й . Нет, не обедняет. Ибо я жду от людей того же объема добра и зла, на который способен сам. Ни больше и не меньше.

Е з е р с к а я . Ваше отношение к Америке, к Нью-Йорку, в частности?

Б р о д с к и й . Я не в состоянии объективизировать свое отношение к Нью-Йорку и к Америке. Но для того чтобы жить в иной стране, в чужой стране, если хотите, нужно любить либо ее культуру, либо архитектуру, либо конституцию, либо литературу, либо... я уж не знаю что.

Езерская. А может быть, все вместе?

Бродский. Может быть. Хотя я и не думаю, что существуют такие ренессансные натуры, которые могут охватить своей любовью все. Я, например, с большим уважением и симпатией отношусь к американской литературе, и поэтому жизнь здесь для меня с самого начала представляет интерес. Как я отношусь к Нью-Йорку? Это замечательный город. И монструозный в то же время. Он чудовищен во многих своих проявлениях, но в его чудовищности есть то преимущество, что это тенденция, доведенная до абсолюта. А по крайним ситуациям мы как раз судим о том, что находится посередине. Как лаборатория познания жизни Нью-Йорк великолепен. Лучшего места себе придумать нельзя. Хотя, конечно, можно и обойтись без этого опыта над собой.

Езерская. Во всяком случае, в этом многонациональном, разноязыком конгломерате вы можете оставаться самим собой. Здесь меньше ощущаешь свою инородность, чем в любом другом американском городе и, уж конечно, в любой мононациональной стране.

Бродский. Я ощущаю свою инородность в общем более или менее постоянно. По отношению ко всему. Где бы то ни было. Это было дома, осталось и здесь. Видимо, это сугубо индивидуальное.

Езерская. Может быть, это потому, что вы вне времени? Ваше время впереди, скажем, в будущем столетии?

Бродский. Я так не думаю. Может даже статься, что оно уже прошло.

Езерская. Критики считают, что вы взорвали традиционный классический русский стих, лишив его основного атрибута — строки как "единицы поэзии", — и тем приблизили к прозе. Считаете ли вы это мнение правильным?

Бродский. Ничего я русский стих не лишал и ничего в нем не взрывал. У каждого человека своя дикция, и у меня, видимо, тоже своя. Про приближение к прозе я ничего сказать не могу; единственно, к чему я более или менее всегда стремился, это к логичности, — хотя бы чисто внешней, — поэтической речи, к договариванию вещей до конца.

Езерская. Считаете ли вы себя новатором?

Бродский. Нет, не считаю. Новаторство и вообще категория вздорная. Рифмы у меня иногда хорошие попадают, но считать их "новыми" бессмысленно, они взяты из языка, в котором всегда были.

Езерская. Относитесь ли вы критически к своему творчеству?

Бродский. К тому, что я делаю? В достаточной степени. Иначе я бы этим не занимался.

Езерская. Вы получили недавно одну из самых престижных американских премий — премию Мак-Артура. Вы стали теперь состоятельным человеком. Намечаются ли у вас изменения в связи с изменением вашего материального статуса?

Бродский. Нет, я думаю, никаких. Я, как жил, так и собираюсь жить. Менять я особенно ничего не стану... Ну может, дом себе куплю со временем. Это максимальная перемена обстоятельств.

Мы вдвоем покидаем жилье поэта через внутренний дворик-патио и выходим на умытый дождем Гринвич Вилладж. Этот очаровательный, закрытый со всех сторон и осененный могучим тополем дворик, видимо, предмет особой гордости хозяина.

Мы едем по притихшему и сравнительно безлюдному после дождя Гринвич Вилладжу. Поэт "подбрасывает" меня к оставке сабвея. Управляется он со своей машиной легко, лихо держа на руле одну руку. Мои замшелые представления о традиционной рассеянности поэтов развеяны напрочь.

Речь снова заходит о Нью-Йорке. Я признаюсь, что при всей моей любви к этому городу, в нем иногда бывает страшно.

— Монструозный город, — повторяет Бродский любившееся ему словечко. И добавляет с мепистофельской улыбкой: — А жить вообще — страшно. Вы заметили, чем все это кончается?

ALEXANDER SHTROMAS POLITICAL CHANGE & SOCIAL DEVELOPMENT: THE CASE OF THE SOVIET UNION, PETER LANG, FRANKFURT a.M/BERN, 1981

В книге недавнего эмигранта из СССР, ныне профессора Солфордского университета (Англия)

АЛЕКСАНДРА ШТРОМАСА

исследуются отношения между советским политическим режимом и разными слоями населения СССР.

На основании тщательного историко-социологического исследования этих отношений автор строит прогнозы дальнейшего развития страны, рассматривает возможные модели и сценарии смены существующего в ней ныне политического строя. В этой связи автор, в частности, касается политической стратегии Запада по отношению к СССР и ряда других не менее актуальных проблем.

ИЗ ОГЛАВЛЕНИЯ КНИГИ

Проблема политической оппозиции в СССР;

Советский режим и советский народ: исторический обзор;

Проблема политической оппозиции в СССР;

Советский режим и советский народ: исторический обзор;

Советский народ и советский режим: современное "диссидентское согласие";

Внутриструктурное и в неструктурное диссидентство;

Смена политического режима: вопросы теории;

Сценарии и исторические модели смены: плавный переход от партократии к технократии, военный переворот, внутриструктурный и внеструктурный гражданский переворот;

Последствия смены политического режима в СССР: чего следует ожидать и что следует предпринять.

Книга снабжена богатым справочным аппаратом.

Цена с пересылкой и 5-процентной скидкой 38 швейцарских франков.

Заказы на книгу направлять в издательство в Швейцарии:

Verlag Peter Lang, Postfach 277, CH-3000 Bern 15

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО



Владимир ШЛЯПЕНТОХ

ДЕСЯТЬ ПИСЕМ В РОССИЮ

Окончание. Начало см. в № 62.

15 апреля 1981

Дорогие друзья!

Извините, Бога ради, за проволочку с ответом. Были разные уважительные причины (например, не было русской машинки, она ремонтировалась) да и хотелось собраться с мыслями и дать вам ясный отчет о том, как я представляю себе социологический рынок сей страны.

Несколько слов общего характера. Экономическое положение США не блестяще. Кроме того, с начала 70-х годов наука прекратила активно расти и спрос на ученых резко упал. На фоне этого положение социологии не лучшее по сравнению с другими науками. Ее престиж в обществе невысок. Уж конечно, никакого сравнения с СССР, где даже в 70-е годы многие еще продолжали вздрагивать, узнав, что ты социолог.

В условиях резкого ухудшения конъюнктуры социологу устроиться на работу очень непросто. Насколько я могу судить, в нынешней ситуации решающая роль принадлежит

связям. Конечно, в отличие от других мест никто не будет рекомендовать олухов и неграмотных людей, однако персональные связи крайне важны. Их роль, видимо, резко возросла в последние годы из-за весьма интенсивных распрей среди гуманитариев. Наш "департамент" социологии, по утверждению многих, достаточно типичен. Так вот, здесь существует несколько группировок (левые, консервативные методологи), которые ведут друг с другом откровенную войну, блокируют продвижение противников, следят за всем с точки зрения их групповых интересов. При этом ноль научного общения. Многие не разговаривают друг с другом. Нечто такое же происходит на экономическом департаменте.

При этом надо учесть, что американские ученые вообще, за редким исключением, не любопытны. Им не интересно, что знают другие. Более того, у них не чувствуется европейской глубокой заинтересованности в истине как таковой. Наука для них очень инструментальна, она средство достижения тех или иных целей, в частности благосостояния. Некоторые легко меняют научную карьеру на любую другую. Отсюда слабый интерес к иностранцам (самоуверенность, что американцы все умеют лучше других, тоже играет немалую роль, хотя оно, это самоуверенность, сильно пошатнулось из-за успехов Японии в промышленности).

Надо учесть и другой феномен, который я не сразу осознал из-за безумной американской вежливости и доброжелательности, а также из-за вечной готовности искренне участвовать в благотворительности, в частности к эмигрантам. Американский ученый мир глубоко конкурентен. Боязнь конкуренции — один из важнейших внутренних механизмов американца. Он все время настороже и боится себя на далекие расстояния, как в другой стране бюрократ, нежелающий подвергать свою карьеру даже малейшему риску. Кстати, только недавно я понял, что это постоянная настороженность является одной из причин того, почему в академических кругах люди очень редко дружат с коллегами. Я слышал признания о боязни делиться со своими коллегами информацией о собственной жизни, поскольку эта информация может быть использована против них.

Отсутствие любопытства, самонадеянность американцев резко снижают шансы эмигранта-гуманитария на стабильную работу. Им не очень или совсем не интересно иметь на кафедре экономики, философии, социологии, политики представителя другой культуры, другой системы взглядов и т.д. Кстати, в Москве я думал иначе, полагая, например, что Арона должны кафедры экономики лучших университетов прямо разорвать на части в аэропорту Кеннеди.

Известную роль играет и культ публикаций. Это тоже отражение инструментализма в научной среде. Из-за конкуренции уровень публикаций очень высок, в целом, конечно. Высок в соответствии со стандартами здешней науки, сильно отличающимися от наших и европейских — логика железная, эмпирика и т.д. Отсюда и большее число здесь классных профессионалов, чем в России, и гораздо меньшее число энтузиастов, влюбленных в науку (таких вообще не встречал). Нет горящих глаз, нет томления по истине, нет радостного желания поделиться с ближним тем, что явилось для тебя откровением.

Говорят, что эта культура плюралистична. Нет, она "параллельна". Люди здесь не спорят, не обмениваются противоречивыми взглядами, ничего не доказывают нигде и ни при каких обстоятельствах. На научных конференциях дискуссия как институт отсутствует. Докладчики высказывают свое мнение, им задают вопросы, они отвечают — и все. Последнее слово за ними. Иногда предполагается, что, задавая вопросы, можно прокомментировать доклад. Однако это бывает редко, это считается невежливым и противоречащим порядку. Любопытно, что этим недавно воспользовались представители одного посольства, которые вдруг стали разъезжать по университетам, излагая свои взгляды. И если кто-либо пытался, задавая вопросы, оценить их позицию, они немедленно говорили: "Это что? — вопрос или заявление", — тем самым давая понять, что комментарии невежливы.

Недавно один мой здешний коллега — очень видный социолог, живший долго в Англии и потому, как все вкусившие европейской жизни, томящийся по ней, — объяснил мне это тем, что американцы крайне эгалитарны и жутко не любят

тех, кто выпендривается. (Видный социолог Липсет именно так объяснил покушение на Рейгена.) Будучи терпимым ко всем социальным и этническим группам, американец не терпит к коллеге, к личности, отличающейся от него. Этот социолог жаловался мне, что его в общем не ценят здесь по заслугам, стараются игнорировать его реальные успехи.

Напряженная конкурентная борьба, видимо, объясняет, как я уже отмечал, почему на многих гуманитарных кафедрах происходит нередко ожесточенная борьба между разными группировками. Конечно, часто это носит вид разногласий по научным и идеологическим соображениям. У нас, например, это конфликт между марксистами и методологами. Первые презирают количественные методы, направленные на решение второстепенных проблем, и выступают за решение грандиозных вопросов; вторые настаивают на методологии. Мне трудно еще оценить силу этих направлений в масштабе страны, но на всех конференциях, где я побывал, красивые девушки концентрируются на секциях, связанных с марксизмом, а традиционные секции посещаются старыми и скучными типами.

На кафедрах экономики идет борьба между кейнсианцами (сторонниками роста расходов) и их противниками, поддерживаемыми Рейгена (сторонниками роста производства), и т.д. Так или иначе, эта борьба отражается на приеме новых работников, ибо новый человек усиливает какую-нибудь группу. Моя неудача в Пенсильванском университете в октябре 1979 г., когда шансы мои были очень велики после моих выступлений, возможно, связана с тем, что меня очень двигала одна группа, которая была заблокирована другой.

Однако вернемся к облику американского гуманитария. Я опять хочу сослаться на моего собеседника. Он обратил мое внимание на то, что американцы, возможно, заимствовали у англичан их принцип не обсуждать в неформальной обстановке профессиональные проблемы. У них это связано с комплексом джентльмена, который вообще делает вид, что его занимает не работа, а светская жизнь. Там, в Англии, упорно скрывают пот и ночные бдения. Но зато в английских салонах царит юмор и веселье, оно во многом обязано лидеру вечера,

который вовсе не должен быть самым важным на иерархической лестнице. Здесь же нежелание обсуждать науку сочетается со скукой и полным отсутствием светскости, а также интереса к яркому человеку.

Ну ладно об этом. Теперь о советологах. Кое-кто меня давно уже зачислил в советники самых главных советников. А вот как обстоит дело. Американцы блокируют, насколько это позволяют правила и приличия (а они позволяют многое), все категории эмигрантов от их включения в исследования соответствующих стран. Так, они черпали информацию о маоистском Китае из официальных поездок и издали десятки книг о Китае под прямую диктовку маоистов. Китайцам, бежавшим из страны, они как бы не верили, подозревая их в тенденциозности. Я недавно собрал эти книги, изданные в 70-е годы. Очень интересно. То же происходит и с эмигрантами из других стран. Реальная причина, — конечно, конкуренция.

Любой специалист или почти любой выглядит слабым по сравнению с хорошим советским специалистом. И они это понимают и стараются держать советских эмигрантов подале. Ни один советский гуманитарий не получил здесь работу, связанную с Советским Союзом. (Нет, пожалуй, исключения есть, но они касаются низких уровней.) Например, Ароном почти не интересуются как знатоком экономики, так же как мной — вроде бы специалистом по социальным проблемам. Максимум — это приглашения, да и то весьма редкие, на конференции. У меня нет никаких перспектив на работу вне обычной американской социологии, что и хорошо. Однако здесь перспективы крайне слабые. Я рассылал множество заявлений в университеты и ни разу не был вызван для беседы, что еще не все. Я могу рассчитывать только на людей, которые меня уже знают и которые теперь занимаются мною. Несмотря на мои очевидные достижения (успешная лекционная деятельность, включая лекции для первокурсников, первая книга, выступления, хорошие и уважительные отношения в департаменте и т.д.), их миссия крайне трудна. В общем я должен психологически быть готов стать свободным художником, ориентироваться на писание книг. Вообще-то книги, завоевавшие признание, могут резко

изменить мою ситуацию, но, как вы понимаете, это далекий путь, а я вроде бы и не в младенческом возрасте.

Положение не гуманитариев принципиально иное. Я уже не говорю о математиках, которые все прекрасно вошли в систему. Многие инженеры, даже хорошие врачи.

Из двух методологических подходов — универсализм и специфика — я для себя выбрал универсализм. Мне интереснее обращать внимание не на разное, а на общее, которое пробивается сквозь казалось бы абсолютно разную специфику. Вот судьба историка. Такая же несчастная, как в Союзе. Компьютерщик опять-таки чувствует себя уверенным и там и здесь. Поэтому восприятие Америки и эмиграции резко отличное у людей с разной профессией.

Интересно, что, по общему мнению, средний уровень специалиста из СССР далеко не всегда ниже среднего уровня американца. Нередко общий интеллектуальный уровень бывает даже существенно выше. Но преимущество здешней экономики, здравоохранения, наук — в системе и технологии. Нам хорошо известно, что даже очень посредственные люди могут отлично решать сложные задачи, если у них есть хорошие методики и инструкции. То же самое и здесь — пресловутая американская организованность, при которой ответственность делает хорошо свое дело. Впрочем, американский университет нацелен на выпуск людей со стандартными навыками и очень мало уделяет внимания фантазии, полету мысли и творчеству, но зато выжимает из тебя жилы, заставляя выполнить программу.

Нечто похожее и в социологии. Скучные люди делают хорошие статьи, потому что они все делают по правилам, а правила здесь жесткие. Вот, например, из-за того что выборочные обследования проводятся специализированными фирмами, американский социолог почти ничего не знает о выборке. С большим трудом я за полтора года обнаружил двух людей, которых могу считать себе ровней в понимании выборки. В моем департаменте, например, почти никто ни черта не понимает. Но зато американский социолог знает всю огромную литературу по проблеме, четко следует схеме позитивистского исследования-гипотезы, аппарат и т.д. Большая тщательность в доказательствах.

4 мая 1981

Дорогие друзья!

Два года назад я покинул Москву. По этому поводу решил описать вам мой сегодняшний день.

8 часов утра. Звонит будильник на ручных часах. Их мне подарил Арон на день рождения в прошлом году. Но я их не ношу, а на руке у меня часы, подаренные мне друзьями в 1976. Включаю "публичное" (некоммерческое) радио и слушаю известия, делая зарядку. Главная новость, с которой начали передачу, — голодовка католика из Северной Ирландии. Он почти при смерти. Затем бреюсь (все еще советской бритвой, надо, вероятно, покупать местную) и одновременно посматриваю в английскую грамматику, зубрю специальные глаголы, после которых модно ставить только инфинитив. Хоть мой английский движется, но до совершенства он как далеко. Принимаю душ и надеваю чистую рубашку, здесь это закон — ежедневно свежую.

За завтраком просматриваю местную университетскую газету. Ее приносят рано утром. Гляжу в первую очередь, что идет в кино. Решил, что завтра пойду на "Джулию", вроде бы известный фильм. Вчера смотрел два фильма самого знаменитого западногерманского режиссера Фассбиндера. Первый — "Третье поколение" — о террористах — терпимо, даже интересно; второй — о гермафродите — не выдержал, ушел. Все еще вспоминаю с бешенством. Смотрю в этой же газете и некоторые новости, конечно о Польше в первую очередь. Иногда смотрю и университетские события.

Сажусь на свой велик и еду в банк. Перевожу часть денег со счета текущих расходов на счет сбережений (там платят больше процентов — 6 вместо 3-х, кажется). Собираем деньги в связи с предстоящей Сашиной свадьбой — надо туда ехать плюс 1000 тугриков на само идиотское предприятие (родственников Фила будет один миллион, ибо они дикари и похожи в своих действиях на сельских грузин). Но что делать, не мелочиться же с ними, тем более они, родители Фила, — славные люди, а здесь это традиция — собирать всех на свете на подобные торжества, конечно, дико скучные. Тут же в банке беру свои карманные 50 тугриков плюс, что добуду

сам. В общем я восстановил мои московские порядки. В банке операция занимает 5-10 минут. Как всюду в общественных учреждениях, здесь невероятная любезность — вы можете переспрашивать тысячу раз, совершать ошибки и, кроме чувства какого-то удовлетворения (может быть, основанного на контрасте с прежним опытом общения в прежней жизни), вы ничего не получите. Райкину было бы трудно здесь позизголяться.

После банка я двинулся на велике в сторону кампуса. Поставил свой велик возле моего здания, прикрепил его специальным шнуром и замком к стоянке велосипедов (здесь их крадут активно даже с замками) и отправился покупать в близлежащий магазин на распродаже, т.е. "сейле", кассеты по дешевке (1,5 доллара штука). Сейл — важнейшее явление американской и вообще западной жизни, это распродажи чего угодно, когда цены снижаются на 25-50-80 процентов. Нужно только это знать. Из всех материальных вещей меня здесь интересуют (кроме случаев, связанных с подарками для Союза) только электроника, радио и т.п. У меня в офисе есть магнитофон, и я люблю записывать музыку, транслируемую по радио.

После этого я отправился в книжный магазин напротив Берки-холл (все здания в университетах названы в честь тех, кто жертвовал деньги на их строительство, или местных знаменитостей из прошлого). В магазине я стал искать поздравительные карточки для Алика. Хотел найти что-нибудь, чтобы его ублажить, но уже теряешь представление о том, что может поразить в Москве.

Вообще мне кажется, что происходит недооценка положительной реакции на разные местные штучки (здесь привыкаешь к ним). Тут же, как обычно, купил "Нью-Йорк Таймс". Считается, что она дорогая. Очень немногие из профессоров ее регулярно покупают. Некоторые приобретают только воскресный выпуск, где, помимо всего прочего, дается сводка новостей за неделю — в виде отдельной тетради.

Далее я уже в своем офисе. До начала лекции оставалось 0,5 часа. Стал редактировать рецензию на книгу Фишера о подборе партнеров в СССР, где он доказывает, что совет-

ские люди вступают в брак для максимизации своих доходов, а также для приобретения вне очереди машины. Строго говоря, он полностью разделяет мнение того грузина, который предлагал даме с ребенком отличать мужчину от самца, не имеющего денег. Произведение Фишера, написанное с позиций, "если по идеологии, так значит в жизни все наоборот", — один из примеров того, как американцы слабо понимают жизнь в СССР. Правда, Фишер все-таки лучше тех, кто воспринимает ритуалы абсолютно буквально и тщательно изучает динамику числа лиц, принимающих участие в производственных совещаниях в Китае.

Посмотрев рецензию, я отправился читать лекцию. К ней я уже был готов. Тема: "Организация". В класс я вхожу с удовольствием. В нем явно найдется 10 человек, реагирующих на твои пассажи. Приятная черта класса (и вообще жизни Америки) — это его этническая пестрота. В моем классе я уже выделил американца мексиканского происхождения, итальянку, одну пожилую негритянку, македонца. Америка в целом учит интернационализму.

Язык, конечно, заботит меня. В классе главная проблема не в том, сумею ли я быстро выразить нужный оттенок мысли, а поймут ли мое произношение. Неожиданно возникла и еще одна проблема. У меня довольно богатый запас слов. Так вот, некоторых из них студенты просто не знают. (Вообще у меня впечатление, что английский крайне богатый язык.) Поэтому теперь я не щеголяю не массовыми словами, этим улучшил ситуацию по сравнению с прошлым курсом.

Сегодня, как всегда, я предлагаю несколько тем из лекции для обыгрывания. (У всех на руках учебник, выбранный мною из нескольких десятков; я взял новейший, написанный Смелсером, — оказался опять так себе.) Сконцентрировал внимание на роли информации, на организации и на том, что руководство (страны или корпорации — мое любимое сравнение в лекциях), если оно долго у власти, предпочитает лучше не иметь никакой информации о делах у себя, чем обеспечивать данными возможных соперников. Вспоминаю частоту всесоюзных выборочных обследований. Затем провоцирую студентов высказаться о политике президента университета.

Все ругают. Я спрашиваю: "А что вы знаете, собственно-то, о делах университета?" Смущены, но настаивают на своем. Потом нахожу время для марксистского подхода к конфликтам в организациях. Вообще удивительно интересно излагать марксистскую точку зрения. Ни разу раньше не делал этого на полную катушку. Недавно впервые в жизни прочел лекцию о Марксе — пришел к выводу — великий был человек, — хоть и просил извинить его. Сейчас марксистская позиция здесь, в условиях общего движения в сторону консерватизма, включая студентов, выглядит острой, даже вызывающей.

После лекции подходит негритянка и говорит: "Блестящая была лекция сегодня". Я удивлен. Это здесь редко; я имею в виду текущие лекции. Затем меня окружают студенты, с которыми я готовлю разные опросы. Ксерокс — одно из главных чудес Америки, и потому подготовить 500 экземпляров анкеты через 6 часов не проблема.

Расставшись со студентами, я обсудил с моим коллегой польского происхождения новейшие события в Польше. (Он, кстати, принимал активное участие в кампании по продлению моего пребывания в департаменте.) С ним мы вновь подивились долготерпению Москвы и "наглости" его соотечественников.

По дороге в мой оффис меня остановил один из лидеров радикальной группировки департамента и дал мне книгу его бывшей студентки о трех революциях (Франция, Россия, Китай). Довольно посредственная работа, но модная среди социологов, даже консервативных, получила ряд премий. Однако автору отказались дать теньюру (штатное место) в Гарварде, где она работает. Она подняла всеамериканский скандал, уверяя, что ее дискриминируют как женщину. В Нью-Йорк Таймсе уже трижды были статьи об этом. Сопровождались они ее портретом.

Любезное отношение ко мне со стороны левых (сам факт вручения мне книги тоже симптоматичен, ибо половина департамента не разговаривает с другой половиной) сыграло важную роль для меня здесь.

В оффисе приступил к работе. Изучаю материалы о Великой Пролетарской Культурной Революции, которая вызвала

в 70-е годы бурный восторг у местных либералов. Оказалось очень интересным знакомиться с этим.

12 часов. Пора звонить Алику в мастерскую, где наверняка собрались, используя мой отъезд как повод для пьянства и самовыражения. Автоматическая связь с Москвой. К этому чуду (оно началось в конце марта) еще не могу привыкнуть. Две секунды — и Алика голос. Искажаю свой голос, он меня не узнает, зову одну участницу, затем все смеемся. Они, гады, уже почти навеселе. Голос Алика явно возбужден. И тут-то тоска меня охватывает. Вот чего здесь нет, так нет. Нет душевного разговора, застолья. А какой разговор без застолья. И это ушло из жизни, и думать об этом горько. Это так важно. Здесь это начисто отсутствует. Успокаиваю себя тем, что в моем возрасте пить вроде бы сильно вредно, так же как и иные удовольствия. Вроде бы и чувствую себя прескверно после сильной выпивки. Но живи я в Москве, уж не менее трех раз в неделю пришлось бы с наслаждением выпивать. А здесь как бы сухой закон. И великое обилие всевозможных вин и других напитков (кстати, дико дешевых, если не французский коньяк и т.п.) в магазинах не соблазняет, а напротив, вызывает грустные мысли о том, что вот, если бы я зашел в такой магазин с тем-то и той-то, с каким удовольствием мы бы выбирали, что нам выпить.

После разговора с Москвой надо минут 10, чтобы прийти в себя и продолжить изучение подвигов Великого Кормчего (это для книги "Интеллектуалы и элита"). С моей точки зрения, интеллигенция была чуть ли не главным объектом ненависти Мао.

Затем наступает ланч. Его я беру из дому. Он состоит из бутерброда и множества различных фруктов и овощей. Наряду с электроникой и ксероксом, а также кампусами, библиотеками и аэропортами обилие и дешевизна этого вида пищи — важное преимущество этой страны в материальной сфере. Фрукты и овощи здесь круглый год, иногда, правда, кажется, что клубника какая-то иная, а больше одного банана съесть невозможно.

Чтение "Нью-Йорк Таймс" и ланч продолжаются около часа. Так внимательно эту газету читают здесь немногие. Я же чер-

паю множество сведений и постепенно, между прочим заполняю разные пробелы из интеллектуального и политического прошлого США. Для языка читаю вслух одну-две статьи, как правило, об СССР, Польше, Китае. Сегодня, например, была статья о пьесе Гельмана "Мы, нижеподписавшиеся" во МХАТе с фото Калягина и Евстигнеева. Автор в диком восторге, но он, конечно, не понял, что Гельман, как всегда, берет в качестве исходной позиции абсолютно нереальную ситуацию, а затем развивает ее в строго правдоподобной манере.

Снова занимаюсь. Является мой ассистент по курсу для первокурсников. Обсуждаем 10 минут наши занятия. Дело в том, что я ввел новацию и заставляю всех студентов участвовать в разных опросах, и это довольно муторно, надо, чтобы они успели получить данные до конца "терма". В этом университете три терма, каждый по три месяца, в Гарварде — семестры.

Заходит старый профессор, очень уважаемый здесь человек, приносит книгу об интеллектуалах. Я выхожу с ним в коридор и обсуждаю мои дела, относящиеся к продолжению работы в университете. Он активно участвует в этой кампании, но поговорить обо мне с деканом отказывается, ссылаясь на то, что она его бывшая ученица. Увы, приходится все время держать в голове проблему работы, как в Москве я держал в голове позицию одной организации. Нестабильность — явно негативный фактор, хотя, кроме отдельных пиковых дней, когда приходят резко отрицательные новости, на меня в целом он, к удивлению всех, влияет мало. "Пробьемся", — как говаривали мы когда-то при весьма несимпатичных обстоятельствах.

Иду за почтой вниз. Это важный момент. Прежде всего жду писем из СССР, а также разные деловые ответы. Сегодня — два из Союза, а также письма с чеками. Я собираю деньги для одного математика. Следует сказать, что готовность помочь у математиков-эмигрантов оказалась удивительно слабой, из сорока отозвалось не более четверти. Письма из отечества, как правило, перечитываются тут же несколько раз. Вообще нужно сказать, что связь работает очень хорошо. Часто сейчас письма доходят за неделю. Американцы вечно

надоедают вопросами, есть ли еще читатели у наших писем? Обычно отвечаю ссылками на выборочный метод.

Продолжаю заниматься примерно до 5-ти часов. Выпиваю сок и ложусь в оффисе отдыхать. Перед сном читаю Ла Карре, весьма известного и в Союзе автора психологических детективов. Встаю в 6 и отправляюсь на велике в бассейн. Кампус цветет, табунами бегают длинноногие студентки. Культ диеты здесь огромный — толстая тетка, — значит, обязательно больна. Все студентки за редким исключением тонки и изящны, хоть одеты часто странно. Например, сегодня одна из моих лучших студенток пришла в порванных на коленях джинсах. Я даже выяснял, не мода ли это — иметь две дырки на этих местах. Но мне ответили, что нет, не мода, но ничего нет страшного, если так ходить.

Бассейн — это большое удовольствие, если он рядом, езды всего 10 минут. У меня там моя собственная кабинка. Опять фиксирую абсолютную благожелательность вокруг, включая черных.

Возвращаюсь в оффис и продолжаю занятия. Важная часть моей жизни в оффисе — музыка. У меня радио-магнитофон. Слушаю музыку почти непрерывно, работают обычно три станции — с классикой. Если передают лекции, последние известия, — включаю магнитофон. Много русской музыки. Сегодня, например, Чайковский. Никогда я так много не слышал Прокофьева и Шостаковича, как здесь.

Вечером звонит мне приятель. Он встревожен судьбой одного эмигранта, который посетил нас на "майские праздники". Нам кажется обоим, что он выбрал неверную стратегию адаптации, недостаточно углублен в профессиональные, научные проблемы, его отвлекает от этого много текущих задач, которыми надо, как нам кажется, пожертвовать (типа приобретения дома и т.п.). Вообще в среднем один раз в два дня бывает звонок от эмигранта, с которым часто трепещешься, несмотря на междугородный разговор, довольно долго, особенно, если звонок из учреждения.

После 9-ти еду домой. Любы дома еще нет. Митя уже вернулся с работы (4 часа в день) в ветеринарной лаборатории, где он работает вроде бы как санитар. Зарабатывает что-то

около 300 тугриков. Беседуем о текущих событиях, хоть он почти никаких газет не читает, кроме газеты на русском языке, которой он часто возмущается, хоть там бывают очень интересные исторические материалы — воспоминания разных людей, вплоть до начала века. Конечно, особенно интересен советский период. Я тоже просматриваю эту газету, опуская все политические рассуждения, если только они не принадлежат уважаемым писателям.

Ужинаю и двигаюсь к телевидению. Я не только люблю кино, но время, проведенное у телевизора, это и время, проведенное с пользой для совершенствования языка, так что это важное и приятное занятие. Мы подключились к кабельной сети. Это значит, что работает примерно 20 каналов, в том числе три "паблик", т.е. без рекламы. Можно было еще подписаться на специальный канал, по которому демонстрируются новые фильмы, но я решил, что это дороговато, и пока обхожусь без него. Сегодня ничего интересного нет. Вяло смотрел старый фильм о Робин Гуде, потом включил специальный канал, который передает только новости, потом специальный канал по искусству.

Где-то около часа является Люба. Ложусь. Заканчиваю книгу известного современного писателя Стайрена "Выбор Софи": дикая любовь одной польки (пережившей Освенцим и жуткую дилемму, кого из двух своих детей послать в печь, кого — в лагерь) и шизофреника иудейского происхождения плюс личные переживания самого автора-южанина. Проблема Севера и Юга все еще актуальна для американской психологии. Засыпаю. Спокойной ночи.

Июль 1981

Дорогие друзья!

Так получилось, что я впервые за время отъезда увидел советский фильм. Это был самый дорогой в моей жизни фильм. Он стоил примерно 300 единиц в местной валюте. У моей приятельницы в Атланте, где этот фильм демонстрировался с титрами, возникло сильное желание обсудить его со мной (ведь он получил здесь Оскара, этот фильм, согласно

которому Москва — слезам не верит). И она уговорила директора курсов повышения квалификации учителей средних школ при Эмори-университете пригласить меня в "русский класс" (часть учителей избрала этот класс для своей летней программы) для лекции об этом фильме.

Днем я вылетел, вечером смотрел фильм, утром три часа болтал о нем, вечером был снова в Лансинге. И не пожалел. В общем ночь спал плохо, был очень возбужден.

Я вам расскажу кратко основные тезисы моего выступления, а вы попытайтесь определить, какие сдвиги в моем мышлении и восприятии произошли за истекший период.

Начал я с утверждения, что американское кино неизмеримо менее интересно, чем советское. Посудите сами, говорил я им, вот вы видели фильм "Крамер против Крамера" (весьма средний сентиментальный фильм о разводе с участием Гофмана), который крайне высоко оценен в США. Так вот теперь возьмите "Москва слезам не верит". Я вам покажу, что вы ничего не поняли в нем и что существует специальное искусство декодирования советских произведений искусства и что это первое искусство и составляет важнейший элемент московской подкультуры и важный источник наслаждения.

Итак, вы думаете, что это фильм о трех женщинах, их судьбе и т.д. Чепуха. Сюжет для авторов играет второстепенную роль. Фильм прежде всего о времени: 1958—1978—1998. Первая часть — всеобщее возбуждение. Поэты на площадях и т.д. Телевидение. Ремарк. "Все, все через двадцать лет изменится", — твердят герои фильма, хотя кое-кто пытается их образумить и заодно отвергнуть юношеское самодовольство, что мол они "этого" никогда б не потерпели.

Двадцать лет спустя. Лысый аппаратчик был прав. Если не хуже. И когда во второй части снова заходит разговор о том, что вот через двадцать лет... то никто к прогнозам не относится серьезно. Будет то же. Правда, песенка, предлагающая готовить весенние платья, хоть погода все еще зимняя, контрастирует с центральной линией.

О'кей. Но как жить? Вот тут-то и главная изюминка фильма. Гоша, — вот кто почти плакатно (но таков его образ) де-

кларирует идеи Сенеки и, кстати, вспоминает Римского императора. Но о нем чуть позже.

В этом месте я подошел к доске и нарисовал два столбика ценностей — положительных и отрицательных. Отрицательные — престиж (мода и т.д.), благополучие и особенно власть. Вот ей-то больше всех и досталось. Гоша ее ненавидит люто. Одни отрицательные эмоции. Помните сцена в электричке. "У вас оценивающий взгляд, такой только у начальства, милиции и незамужних женщин". Гоша, который ух как образован и умен (доктора явно проигрывают), не хочет диплома (его Саша прямо спрашивает об этом), потому что он не хочет быть в системе. Кто он? — рабочий, представитель занятия самого независимого, пользующегося самой большой свободой, в тысячу раз большей, чем занятие директора или инструктора. Его конфликт с Катей вызван и тем, что она "директор". Большая любовь нужна (она в наличии), чтобы преодолеть отвращение к начальнику как таковому. Не в чести у него и профсоюзы и родственные организации. Но, конечно, пик фильма в Диоклетиане. Ведь сам ушел, и выращивание капусты в сто раз приятнее, чем... Но это, как горько замечает кто-то в фильме, редкий случай в истории.

Какие же положительные ценности? Они все у Гоши, конечно. Это любовь, дружба и работа. Последнее особо интересно. Гоша любит трудиться, но не потому, что труд нужен другим, стране, обществу. Нисколько. Только потому, что она, работа, доставляет ему удовольствие. Это даже почище, чем в капстране, где труд из-за протестантской этики трактуется как общественно полезное занятие. Здесь же дикий индивидуализм, страсть к самореализации, и все тут.

Только одна ценность подана в фильме амбивалентно — водка. С одной стороны, явная деморализация, а с другой — нет без нее душевности. И Гоша умеет пить. Интересно, что фильм лишен славянофильства абсолютно. Это отрицательные герои заигрывают с ним: тот, кто из Рудольфа стал Родионом, и та, кто раньше читала "Три товарища", а теперь в ногу с временем носит крестик. Потом Гоша ничего не производит в пользу истоков, погостов и корней. Молчит на этот счет, да и только.

Положительные ценности, рекламируемые фильмом, очень похожи на те, которые здесь пропагандируются так называемыми фондоменталистами — американский вариант почвенников. Я, однако, пытался объяснить, что в разных контекстах все имеет иной смысл, хоть общность интересна. Конечно, я трактовал фильм как резко антифеминистский.

Во второй части я говорил о тех моментах фильма, которые совсем или почти совсем непонятны американскому зрителю: такие, как роль московской прописки (блистательная фраза Люды, когда она покидает высотный дом: "Мы еще вернемся"), адюльтера, который никто в Москве не осуждает (это американцев приводит в полное изумление), невероятный престиж профессоров и актеров и особенно — теплые, всепроникающие человеческие отношения. Американцы не могут поверить, что три женщины могут так глубоко влезть в дела друг друга. Один парень произнес на моей лекции целый спич по поводу преимущества таких отношений по сравнению с американским индивидуализмом.

В заключение меня поразила в общем плохая игра актеров. Только Баталов еще хоть как-то.

Август 1981

Дорогие друзья!

Сегодня я хочу посвятить свой очередной обзор американской женщине. Уверен, что на этот раз ваше терпение уже окончательно лопнет и те, которые готовы были еще терпеть мои рассуждения об американских профессорах и средствах массовой информации, теперь не выдержат и потребуют у меня прежде всего ответа, на каком основании я, к тому же еще и социолог да еще немало рассуждавший о репрезентативности данных, имею право делать обобщения о предмете, явно мною поверхностно изученном, на основе весьма личных и ограниченных во времени и пространстве впечатлений?

Я многое могу возразить по этому поводу. В 80-е годы, как мне представляется, социологическое изучение действительности сильно отличается от идеала американского да и советского социолога, воспитанного на методологии 50-х

годов. Доверие к массовым опросам сейчас неизмеримо ниже. Вера в чудеса математики и компьютеров — и того ниже, несмотря на то что доступность последних не знает практически границ (все больше социологов, и не только они, устанавливают терминалы у себя в кабинетах дома и могут предаваться разнообразным вычислениям, подключаясь к любым вычислительным центрам буквально лежа). Кстати, в целом престиж традиционной социологии в США сейчас невелик. Это появилось недавно в связи со скандалом Колемана, одного из самых крупных социологов, который опубликовал доклад, доказывающий, что частные школы не только обеспечивают более высокий уровень образования (что тривиально), но еще к тому же лучше преодолевают сегрегацию, т.е. разница между черными и белыми в этих школах меньше, чем в публичных. Этот доклад вызвал бурю негодования, кстати, еще и потому, что он был удивительно слаб методологически, он "вонял", как заметил один авторитет, "методологической инфантильностью".

Так вот, с моей точки зрения, "передовой" социолог сейчас присоединяет к количественным методам свое воображение, свое видение мира изнутри. Его личный опыт, столь раньше презиравшийся как чистая помеха "объективному" знанию, приобретает особое значение — своеобразная реабилитация интроспективного метода. Сейчас это называют участвующим наблюдением, экзистенциальным подходом к исследованию и т.д. К сожалению, только небольшая часть американских социологов понимает в полной мере важность синтеза количественной и качественной социологии, то, что, клянусь честью, мы уже хорошо понимали в Москве,

Так или иначе, сегодня социолог гораздо больше, чем раньше, вправе опираться на свой личный опыт, который он должен (и именно здесь изюминка) поверять массовыми данными, выступающими теперь как "ограничения".

Размышляя о любой проблеме в США или СССР, крайне полезно определить, хотя бы интуитивно, степень разброса, вариации изучаемых индикаторов, — в данном случае характеризующих белую женщину с высшим образованием (или студентку), которая и будет объектом моих рассуждений.

У меня ощущение, что здесь, как и во многих других случаях, распределения в американском обществе резко отличаются от того, что имеет место в советском. Американское общество более однородно, чем советское, при условии, если мы отвлечемся от маргинальных, крайних слоев в этом обществе. Иначе говоря, мне кажется, что поведение американок в разных городах и средах меньше варьирует, чем поведение советских женщин, хотя в советском обществе нет в таком количестве лесбиянок, проституток, наркоманок и т.д. Из-за того что большинство американцев более тяготеют к среднему типу, чем советские люди, репрезентативность моих наблюдений существенно высокая, тем более что я все время учитываю социологические данные и данные средств массовой информации. Важным источником информации и перепроверкой моих обобщений является коммуникация с эмигрантами. При всех оговорках они находятся в разных средах, и поэтому если выводы у них совпадают, то можно утверждать, что идет речь о какой-то закономерности.

Итак, американская женщина! Она удивительно холодна эмоционально. Иногда я ловил себя на мысли, слушая, читая, наблюдая, что, может быть, она сделана из другого теста, чем советская. У нее, американки, рациональное намного сильнее эмоционального. Я бы объяснил это двумя факторами: паразитное, по нашим стандартам, чувство собственного достоинства и ориентация на мужа. Женщина прежде всего озабочена тем, чтобы не быть как-то униженной в отношениях с мужчиной. Радость чувств и тем более самозабвение жертвенности ей почти полностью чужды. Русско-советский феномен — успех у женщин преследуемых, несчастных, неудачников, непризнанных гениев — абсолютно чужд этой среде. Трудно себе представить американку, которая ради любви готова была бы на такие жертвы, как советская женщина. Мысль, что любовь включает как органический неременный элемент жертвенность, глубоко чужда американскому духу. Как я уже однажды писал, это — еще одно проявление американского индивидуализма, которому, сколько его ни наблюдаешь, не перестаешь удивляться. В эмоциональных отношениях американка, может быть, еще больше, чем ее

партнер, озабочена эквивалентностью, справедливостью. Она до смерти не любит "быть использованной" (be used). В этом причина успеха феминистского движения в США, в котором одной из центральных идей и была идея: "не хотим быть использованными".

В то же время американка бесконечно предана своему мужу или бой-френду. Напомню еще раз, что американцы, в том числе и американки, по соответствующим стандартам бесконечно честные люди. Высокий уровень религиозности (хотя все утверждают, что и здесь американское общество деградирует) играет немаловажную роль в этом явлении. Понятие грубого обмана чуждо огромному большинству американцев, хотя, возможно, это утверждение не вполне распространяется на деньги — божество этого народа. Иногда даже удивляешься, какая небольшая сумма нужна, чтобы соблазнить американского политического деятеля. Однако при всем том честность американцев фантастическая. На экзаменах они не списывают, на вопросы социологов отвечают правдиво, настолько, что высокоразвитая американская социология сильно отстала от советской по методике выявления неискренности респондентов. Я не мог найти ни одной статьи, где бы разбирался вопрос о том, как избежать деформации ответов на вопросы, относящиеся к политике, разным социальным проблемам, в то время как я 10 лет тому назад включил в свою книгу о достоверности информации в социологии специальную главу на эту тему. И это не вызвало удивления у моих коллег и у начальства.

Поэтому обман партнера американке кажется невероятным. Не говорите мне, что американская литература полна адюльтеров. Конечно, он есть, но это не норма, это отклонение, в то время как в другом месте, это нормальное явление, настолько нормальное, что Жуховицкий в 1976 г., а Урланис в 1980 г. публично призывали со страниц "Литературной газеты" быть терпимыми к одиноким женщинам, у которых есть роман и соответственно дети, при том, что ясно, — одинокие женщины в 90% случаев могут познать любовь и секс только с женатыми мужчинами.

Аудитория, в которой я читал лекцию студентам, почти ли-

шена сексуальных флюидов (профессор не в счет). В СССР такая аудитория всегда перепоясана линиями, соединяющими мысленно и эмоционально большинство студентов. Там происходит непрерывно взаимное оценивание, взвешивание шансов, разработка стратегии и тактики; первый же период используется для тестирования, для прощупывания возможностей и т.д. Ничего похожего здесь, ни малейшего интереса в целом, особенно если уже есть бой- или герл-френд.

То же во всех оффисах, по единодушному мнению эмигрантов. Только неженатые бросают взгляды на незамужних. Все остальные в игре не участвуют. О социометрические матрицы, столь соответствующие духу комнаты, где сидят советские сотрудники! Так легко и просто там установить, как каждый эмоционально-сексуально оценивается каждым, каковы у каждого шансы добиться взаимности и расположения. Ничего похожего в американском оффисе нет. Они работают. Они не смотрят друг на друга. Мало этого. Американские женщины часто одеваются на работу удивительно плохо. С большим недоумением они слушают рассказы о том, что в Москве и Новосибирске лучшие платья берегутся не для концертов или театров, а для работы.

У замужней американки, я утверждаю, такие ценности, как эмоции, любовь-страсть, занимают одно из последних мест. Нечто похожее и у мужчин. Ну где это видано и где это слышано, когда пятидесятилетний декан отправляется в более чем недельную командировку в обществе своей жены-сверстницы?! Это здесь норма. Слово им — мужчинам и женщинам — не нужны полыхания страсти, не нужны таинства новых эмоций, словно разнообразие не имеет никакого значения в этой сфере жизни.

Посмотрели бы вы на американские "парти". Это слово нельзя перевести "вечеринка", это было бы лишь формально правильно. Это, скорее, приемы, даже если они происходят в кругу друзей. Я уже побывал на доброй сотне этих мероприятий. Даже студенческая "парти" (на одной было 50—60 человек) была свободна от эмоциональных потоков. Нет, наоборот, потом кто-то кого-то провожал, может, было даже больше. Но в целом — в целом это нечто совершенно не похо-

жее на студенческие вечеринки в Академгородке, прямо-таки бурлившие от страстей.

Совершенно исключаются на работе скабрзности и шутики фривольного толка. Это здесь дикое нарушение тона и даже опасно для новичка, о чем мне поведал один московский плейбой, чуть не попавший из-за этого в историю.

А вместе с тем, что делается в фильмах? По кабельному телевидению передаются регулярно фильмы с немислимыми сценами. В Москве я бы не решился о многих рассказать даже близким друзьям. А американские порнографические журналы? А специальные кинотеатры? И вот парадокс! Это сочетается с поразительным целомудрием, часто ханжеством!

Весной этого года одна моя студентка попросила разрешения провести исследование об образах романтической любви среди японских студентов. Она с ужасом докладывала мне результаты. Оказывается, в Японии молодые люди могут иметь одновременно связи с несколькими девушками!

Тут еще один парадокс Америки. Ранние половые связи — здесь норма. В этом отношении СССР отстал от США заметно, несмотря на все соответствующие анекдоты о девственности. Но как только пара образована, она относительно прочна, другие отношения кажутся дикими (см. японский и советский опыт). Многие связи переходят в брак, чуть ли не половина. Если отношения в браке меняются, то результатом этой перемены будет новый брак, а не измена. Развод — это ответ на ущемление достоинства и потерю того, что понимается под любовью.

Но тут возникает вопрос, что такое для среднего образованного американца любовь? Она мне кажется другой, чем в России. Любовь здесь спокойна, рассудительна, тесно переплетается с многочисленными расчетами и совсем — я снова повторяю — не жертвенна. Да как она может быть таковой, если отношения между родителями и детьми предполагают, с одной стороны, самофинансирование образования (даже во многих богатых семьях), а с другой — доживание родителей в пусть прекрасно оборудованных, но все же домах для стариков. Впрочем, я могу пойти и дальше в своих заявлениях и скажу, что в целом белые американцы гораздо менее эмоцио-

нальны, чем русские, и поэтому черные здесь частенько кажутся ближе.

Русская женщина поглощена эмоциями, как мне представляется, непрерывно. Если у нее нет активной эмоциональной жизни, она несчастна. Поэтому же она непрерывно ведет учет своих поклонников, тщательно классифицируя их и всячески стараясь увеличить их число. Совсем другое дело, как она организует с ними отношения. Одна очень умная дама в Москве как-то прочитала мне лекцию на эту тему. Оказалось, что идеалом для женщины является обладание мужем, "женихом" и любовником. Прелюбопытно, что эту триаду выявила и моя студентка у японских юношей — девушка для секса, для дружбы и для женитьбы.

Так вот, если москвичка ведет регулярный учет своих отношений с окружающими мужчинами, американка со сходными социодемографическими параметрами воспринимает такой образ женщины как чистый вымысел. Не верили же мне американские женщины, что сцена адюльтера в фильме "Москва слезам не верит" оценивается в столице без тени морального негодования.

Столь же недоверчиво они воспринимают мою концепцию моделей брака в СССР, которая стала для меня очевидной только сейчас. Ее можно описать примерно так. В 50-е годы мы вошли с романтической моделью брака как идеалом и нормой. Брак навеки на основе романтической любви. В соответствии с известными положениями классиков, брак вне любви — явление аморальное. Но так как государство было заинтересовано в стабильном браке, то выход был найден в вере в вечную любовь. Сама эта модель родилась как антитеза революционному отрицанию брака как несовместимого с любовью.

Процессы после 53-го года позволили общественности осознать, что эта модель брака не жизненна. Некоторые чересчур ретивые социологи продолжают, однако, стоять на позициях романтического стабильного до смерти брака (один только Файнбург придерживается этой позиции из-за романтизма, другие — просто потому, что они тупые догматики). Между тем прагматические социологи, хорошо чувствующие де-

ловитость начальства, создали в последние годы новую модель брака (Харчев, Мацковский, Янкова), которые объявили войну любви как неподходящей основе для брака и которые ищут пути для его стабилизации (социальный заказ в переориентации на духовную и культурную совместимость плюс дети). Харчев даже приводит расчеты, доказывающие, что любовь длится в среднем 4 года 2 месяца и 12 дней и что мол только наивные и негосударственно мыслящие люди могут основывать свои браки на любви, тем более безответственно, как Файнбург, рекомендовать это же другим.

Часть населения в известном смысле придерживается этой концепции брака, например, многие женщины и пожилые люди. Однако молодежь и люди среднего возраста не воспринимают эту модель вполне всерьез, ибо в ней нет места любви, страсти, сексу. А в последние десятилетия роль эмоциональной жизни в СССР бурно растет, в частности, пропорционально негативным эмоциям, поступающим из других сфер жизни. Ощущение "один раз живем" и отсутствие других иллюзий усиливает жадный поиск эмоций. (Между прочим, только здесь я понял, что имел в виду Маркузе, объявивший войну "репрессированному сексу". Ему казалось (и не без основания), что он открыл здесь огромный "резерв" радости для американцев и других народов, пребывающих в ханжестве и поглощенных диким трудом во имя будущего.)

Так вот, полуофициальной модели брака противопоставляются другие модели, из которых главная совершенно неизвестна американцам. Я имею в виду "толерантный брак". Основная идея этой модели — соединение семейной жизни с интенсивными эмоциями. Это может быть достигнуто только, если истинная любовь может сосуществовать с браком. Эта модель предполагает специальные "феноменологические" правила: супруги должны тщательно скрывать друг от друга свою эмоциональную жизнь и в крайнем случае, если информация как-то дошла до них, делать вид, что они этого не знают. По сути дела эта модель брака почти легализована в литературе, хотя подобные ситуации все еще рассматриваются как временные. В чем-то "толерантный брак" напоминает американский "открытый брак", который предполагает согласие

супругов на поиски партнеров. Отличия прежде всего феноменологические — советский вариант предусматривает существование специальной реальности, в которой как бы нет третьих лиц — ни для супругов, ни для друзей, ни для детей.

Конечно, это не единственная альтернатива десексуализированной, полуофициальной модели брака. Кроме этого, в ходу "цепной" брак, предполагающий частую смену партнера с официальной регистрацией. Именно эта модель брака наиболее распространена в США. Затем — отказ от брака вообще, нерегистрируемое сожительство. Здесь, как я уже писал, институт бой-френда необычайно распространен, что, однако, продолжает вызывать энергичные протесты церкви и консерваторов.

В завершение письма выскажу некоторые общие соображения. В Америке брак более значимый институт, чем в СССР. Та интенсивность дружеских отношений, которая характерна для России, исключена в США из-за развитого индивидуализма, постоянного страха перед потенциальной возможностью нанесения ущерба собственному достоинству. Фантастическая территориальная мобильность американцев, как я уже несколько раз писал раньше, также одна, хотя и не главная, причина другого уровня дружеских отношений. Конечно, в Америке не может быть такого феномена, как проживание в одном городе с доброй дюжиной старинных друзей со школы и университета. Они, американцы, даже не представляют, что центральное место в вашей жизни могут занимать друзья. О, преимущества не быстродвигающихся по стезе прогресса стран!

Для американца жена (муж) — главный друг, союзник. В СССР друзья часто играют более важную роль в защите от внешнего мира, чем супруг. Удивительная деталь! В СССР изругать жену или мужа в разговоре с приятелями или знакомыми — милое дело, никто не обратит на это особого внимания. Более того, хвалить — прямо-таки плохой тон. Такое впечатление, что супруги принадлежат в России к угнетаемому и презираемому меньшинству. Обмануть супруга не более аморально, чем поживиться чем-нибудь на работе. Вот друзей ругать никак нельзя. Дружеские отношения — по-

следний бастион морали (ну еще, может быть, дети). А здесь отрицательно отозваться о муже или жене — дикость.

Боюсь, что в процессе моих рассуждений, несмотря на мои предупреждения, роль маргинальных явлений в Америке оказалась заниженной. Я имею в виду существование значительного числа людей, которые в сфере секса позволяют себе гораздо больше, чем соответствующие экстремальные группы в СССР. Иначе говоря, если оперировать экстремальными величинами, Америка более "распущена"; если оперировать "средними величинами", преимущество у СССР. Кстати, это различие характерно для многих других сфер жизни. Америка поражает и потрясает своими краями, и это, конечно, не пустяк, ибо эти крайние феномены могут сыграть свою решающую роль в определенных условиях и изменить характер средних величин. Я совсем не уверен, что описанная мною "реальность" "объективна", однако сегодня, 20 августа 1981 г., я так воспринимаю этот фрагмент американской и советской жизни.

Ноябрь 1981

Дорогие друзья!

Давно собирался вам описать такую занимательную сторону этой страны, как ее этнос. Замечу прежде всего, что здесь и сейчас нет ощущения, что вы в стране с четко выраженным господствующим этническим большинством. Вряд ли даже самый дотошный и уверенный в своей правоте исследователь найдет доказательства того, что ВОСП (WASP — белый англосакс и протестант) имеет какие-то видимые преимущества. Более того, в условиях, когда в стране каждое этническое меньшинство буквально снедаемо националистическими чувствами и культивирует свои традиции и свою культуру, белые иногда выглядят растерянными. Странное их положение стало особенно очевидным на фоне так называемого специального законодательства, предписывающего университетам и руководителям учреждений и бизнеса принимать на работу в первую очередь небелых.

В связи с этим возникла полемика об обратной дискри-

минации, имели место судебные процессы, затеянные оскорбленными белыми. Нынешняя администрация пытается ослабить эту практику, равно как и принудительное объединение детей в общих школах, что, однако, вызывает ярые протесты. Так что возможности консерваторов весьма ограничены, хотя их и нельзя недооценивать.

О растерянности белых недавно сказал мне аспирант в Анн-Арборе. Жалобы этого характера напомнили мне аналогичные сетования этнического большинства в другой стране. Оставляя в стороне вопрос об их обоснованности, замечу, что у двух столь различных систем, однако, имеется множество общих проблем. И действительно, этнический вопрос в Америке остается одним из центральных (мои студенты считают его более важным, чем, скажем, вопрос о преступности, рассматривая ее как производную, но об этом позже).

Этническая (или, как здесь обычно говорят, расовая) проблема действительно серьезна. Сейчас она уже не сводится только к негритянской, ибо выходцы из Латинской Америки — люди с испанским происхождением — своим девиантным поведением показывают, что они представляют для нынешней Америки еще большую проблему, даже опасность. Их доля населения быстро растет. Испанский язык становится здесь очень заметным и в ряде районов просто необходимым. Появляются специальные передачи на испанском языке по национальному радио. Но, конечно, не следует забывать и старую негритянскую проблему с 50% черных семей без мужчин и с 50% безработных. В условиях экономической депрессии черные выглядят весьма опасной взрывчатой силой. Зачастую черные и испанцы прямо-таки вытесняют белых из городов. Детройт, скажем, или Балтимор напоминают оккупированные поселения с комендантским часом круглые сутки. На улицах и днем редко можно увидеть белые лица. Я был поражен, в частности, в Атланте, где по красивейшему центру никто не гуляет даже днем.

Но вот что поразительно! Какой бы мрачной не была эта картина, более интернациональной страны, чем эта, представить себе трудно. Национальная терпимость и уважение друг к другу здесь поразительны. Я ни разу за все это время не

наблюдал проявления недоброжелательства, даже в такой форме, как усмешка или косой взгляд, в отношениях между черными и белыми. (Я, конечно, имею в виду Север, но не думаю, что на Юге внешне дела обстоят иначе.)

Китайские, итальянские, греческие и другие кварталы имеются во многих городах США и Канады. Жители их чувствуют себя так, словно они живут в Китае, Италии или Греции, и я бы сказал, что в этом чувстве есть даже какой-то элемент нахальства. Конечно, в этой моей оценке сказывается мое прошлое. Мне явно хотелось бы, чтобы жители этих кварталов были благодарны кому следовало за оказанное гостеприимство, за то, что они пользуются равными правами и т.д. Боюсь, однако, что ничего подобного не происходит.

Этническая пестрота Америки формируется не только за счет эмигрантов, приток которых идет законным, а чаще незаконным путем. Остановить, например, нелегальную эмиграцию из Мексики, которая измеряется миллионами, правительство не может. Предложение ввести нечто похожее на паспорт с возмущением было отвергнуто, как шаг в сторону тоталитаризма. Доля выходцев из Вьетнама, Китая и других азиатских стран ползет к 30—50% процентам. Они делают всю Северную Америку, равно как и Англию, все более "азиатскими". Не меньшую роль играют многочисленные студенты из всех стран мира. В моем аспирантском классе по методологии представлены Иран, Нигерия, Алжир, Кувейт, Иордания, Саудовская Аравия, Тайвань, Япония, Греция. Из 17-ти студентов только 3 американца!

Возрастание удельного веса иностранных студентов — общее явление в США, и оно далеко не всегда способствует качеству преподавания. (Впрочем, аналогичные явления известны и в других странах, где растет удельный вес представителей нецентральных регионов.)

Иностранцы пользуются фантастической, по нашим представлениям, свободой (кроме права работать вне кампуса). И что же! Почти все студенты из Третьего мира ненавидят эту страну. Однажды на лекции я необдуманно заметил, что проблема честности респондента актуальна даже для такой

демократической страны, как эта. Моя "оплошность" вызвала почти бурю негодования. "Вы сказали, профессор, демократическая?" Не оговорились ли вы?" Тут я уже рассердился и высказал свое мнение о сравнительных достоинствах различных политических систем, рискуя потерять расположение и без того трудной аудитории. При большой амбициозности и чувствительности к несправедливости, "порожденной империализмом", некоторые из представителей Третьего мира очень сообразительны и даже изощрены интеллектуально, как например, марксист из Алжира или нигериец.

В целом все же общение с "детьми разных народов" действительно вырабатывает чувство интернационализма, а наблюдение за успехами многочисленных здесь китайцев вызывает даже известную боязнь за будущее. Уж очень они толковы, упорны и уважительны к образованию.

Однако все же откуда такая ненависть к стране, оказавшей гостеприимство? Студенты на этот вопрос не отвечают. Но я, по крайней мере, не знаю другой причины, кроме зависти. Зависть и ненависть порой порождают невероятные теории, вроде того, что Америка обязана своим богатством странам-поставщикам нефти.

Интересно, что американцы крайне терпимы к проявлению столь негативных чувств к их стране, и я не был уверен, что во время полемики по этому вопросу мои студенты-американцы были на моей стороне.

Культ своих традиций, своей культуры объясняет фантастическую роль, с точки зрения прибывшего из Европы, ритуалов. Другая причина ритуальности американской жизни, уже упоминавшаяся мною глубокая религиозность местных жителей, глубокая по нашим масштабам, но не с точки зрения "морального большинства" — движения, похожего на славянофильство, которое требует морального и религиозного возрождения Америки.

С ритуальностью мне пришлось самому встретиться на полную катушку в связи с Шашиной свадьбой. Представьте себе американскую деловитость, соединенную с традициями, вывезенными из 19-го века! Сложная структура свадьбы в синагоге была определена примерно за год. Она состоит не ме-

нее, чем из сотни разных компонентов. Работа над ними началась за полгода. Во всяком случае, когда я за 3 месяца до свадьбы попросил отложить ее начало на 2 часа, это было уже невозможно. Уважение к каждой детали, например к тому, что я должен повести невесту к месту действия, настолько велико, что, когда я попробовал (с согласия Саши) отказаться от этой роли (у меня должен был быть доклад в Торонто, и я опоздал бы к началу церемонии), реакция отца жениха была такова, что мне пришлось капитулировать.

Ритуалы сильно сближают Америку с Грузией, в частности в отношении к родственникам. На свадьбу приглашаются полчища кузин и кузенов с их родителями со всех концов континента. Не жалея на это денег, они спешат на свадьбу, и число приглашенных легко переваливает за две сотни, как и обстояло дело на описываемом мною празднестве.

Не менее половины не поленились приехать и на обручение, которое состоялось за полгода и сопровождалось дарением разных вещей, которые, однако, надо вернуть, если следующий этап не будет иметь место. Дарение играет еще большую роль во время центрального события. Должен сказать с чувством глубокого удовлетворения, что русская культура показала себя на свадьбе с лучшей стороны. Прибыли все мои здешние друзья и знакомые, чем я слегка уравновесил армию родственников из другого лагеря. Наш лагерь превзошел коренных американцев и по щедрости.

Так как раввин не был лишен чувства юмора и так как он не принадлежит к ортодоксальному направлению, которое сейчас пытается терроризировать граждан ближневосточного государства, то церемония была неутомительна и даже не без приятности.

Глядя на свадьбу и на другие ритуальные события, я все себя спрашивал, ну почему я так холоден? Ведь раньше я как будто был настроен ко всему этому, если не с энтузиазмом, так, по крайней мере, с гораздо большим сопереживанием. Конечно, это потому, что теперь для меня эти ритуалы лишены какого-либо подтекста, а иных стимулов у меня оказывается не было. И это по-своему очень печально. Светское образование без всяких ограничений, да еще в несколь-

ких поколениях, убивает уважение к тому, что не выдерживает ехидство разума. И здесь нечто необратимое. Эта свадьба была ареной встречи двух совершенно разных типов людей, хоть и принадлежащих к одной этнической группе.

Дело в том, что американская часть приглашенных состояла из людей, получивших высшее образование в первом поколении. Их родители, не говоря уже об их дедах и бабках, должны были выстоять в тяжелой жизни эмигрантов первого и даже второго поколения.

Между тем революция 1917 г. одним ударом позволила братьям и сестрам тех, кто уехал в Америку до нее, получить высшее образование. Поэтому советский эмигрант, если он интеллигент, то зачастую он интеллигент во втором, а то и в третьем поколении. Он намного культурнее, образованнее и, конечно, гораздо дальше от религиозности и соблюдения ритуалов, чем его местные этнические братья. Отсюда множество проблем, возникающих в отношениях между эмигрантами и религиозными общинами, которые разочарованы секулярностью новоприбывших и их равнодушием ко многим дорогим им идеям. Вместе с тем нельзя не отметить большую теплоту многих членов общины к тем, кто нуждается в их помощи, хотя разброс очень велик — от полного равнодушия и даже враждебности до самоотверженности.

Интересный факт. С повышением образования уменьшается общение с родственниками и соседями. Американский средний класс в основном ориентируется на эти категории, главным образом, конечно, на первую. Доля "знакомых" на Сашиной свадьбе была ничтожна.

Тут нужно вспомнить еще об одном парадоксальном явлении. Фазы процветания и регресса в обоих странах не совпадали. Я не подозревал в Москве, насколько был силен антисемитизм в Америке в 20—30-е годы, когда существовали квоты в Гарвард, когда было очень трудно попасть в медицинские колледжи, когда банки были закрыты и т.д. В этот период знаменитый Уолтер Липман — теоретик демократии и общественного мнения, — сам будучи из того же колена, делал все, чтобы забыли о его происхождении, и оправдывал

квоту тем, что иначе "они" своим числом в науке и культуре "будут раздражать". Именно в этот период многие меняли фамилии, старались жениться на англосаксах и т.д. — все вполне в соответствии с известными нам образцами.

А в это время их родственники в России семимильными шагами двигались вперед к высотам всех сфер деятельности.

Затем фазы поменялись. Сейчас многие вспоминают то, что было раньше, как дурной сон, и даже склонны полностью игнорировать современные аспекты проблемы. К моему большому удивлению, процент профессоров с пятым пунктом, кто делает вид, что он не имеет отношения к соответствующим проблемам, оказался весьма значительным даже сейчас — что-то до 20 или даже больше. Нужно еще учесть, что современные левые из числа тех же с пятым пунктом намеренно игнорируют этот вопрос, враждебны к ближневосточному государству и поглощены негритянскими делами.

Завершая мои рассуждения, могу добавить, что в целом этническая переменная здесь, хоть и слабее, чем там, где она конкурирует с образованием и социальным статусом в предсказании поведения и взглядов людей, все же достаточно сильна, и старое правило при знакомстве сразу устанавливает национальную принадлежность здесь тоже работает. Этнические отношения здесь сложные и часто неожиданные. Как всегда смешанные браки дают ответ на многие вопросы. Совершенно неожиданно пятый пункт здесь дружит с китайцами, которые столь же высоко ценят образование и тепло в отношениях. А вот с неграми у всех, в том числе и у них, оказалось сложнее.

Черные девушки, как всюду у меньшинства, страдают от того, что черные парни назначают свидания белым и получают согласие, а наоборот бывает редко. Об этом, в частности, мне поведала негритянская милая девушка, подошедшая ко мне после лекции и предложившая провести обследование на эту тему. Анкета показалась мне столь сильно проникнутой ненавистью к черным мужчинам (в известной степени, но в меньшей и к белым женщинам, по поводу которых было в ней высказано предположение, что только белые б.... могут иметь дело с неграми), что я решил во избежание скандала

(вот пример своеобразной цензуры, основанной на боязни обидеть какую-нибудь группу) посоветоваться с моей черной коллегой, которая анкету в общем одобрила.

В целом замечу, что мое этническое образование, полученное на Востоке, оказалось здесь вполне полезным и совсем не устаревшим.

Декабрь 1981

Дорогие друзья!

Сегодня речь пойдет о том, как чувствует себя здесь та культура, в которой вы пребываете, не выделяя по естественным причинам ее отдельные элементы, каждый из которых я теперь могу оценить и определить его важность для себя. У "своей" культуры есть одно преимущество, которое сразу же осознаешь, когда с ней расстаешься — реализация ее норм не требует от вас никаких усилий, вы дышите ею.

А вот адаптация к другой культуре — это прежде всего напряжение, активизация вашего внимания, частый отказ от позитивных эмоций, например на приемах, в контактах с аборигенами, часто даже в кино, не говоря уже о театре. Как трудно расшифровывать сигналы, идущие от окружающих вас людей, как нелегко часто понять их отношение к вам.

Я, например, до сих пор не могу понять, как студенты ко мне относятся. Все они, на мой взгляд, очень доброжелательны. Потом же в анкетах для оценивания, которые заполняются после каждого курса, выясняется такое, чего ты совсем не ожидал. Интересная деталь: в Союзе я, как и все, был настроен на "абсолютное большинство", — уж если к тебе хорошо относятся, так все. Здесь же всюду поляризация, и она здесь — норма. Так, мои первокурсники разделились в оценке моей личности на восторженных, умеренных и взбешенных (в частности, моим произношением). Вообще процедура оценивания весьма неприятна, хотя некоторые профессора, имеющие постоянное место, плюют на нее.

Но я отвлекся. Так вот, вхождение в чужую культуру — это увлекательное путешествие, которое иногда доставляет немалое удовольствие. Например, процесс постижения мест-

кого глубоко укоренившегося демократизма и индивидуализма продолжает быть для меня интересным. Понял совсем недавно я и, почему американские интеллектуалы были и остаются очень восприимчивыми ко всем вариантам социализма, ибо из двух главных ценностей — демократии и равенства — они больше всего ценят вторую, ибо первая для них не актуальна, сама собой разумеется. Я вроде бы даже начал понимать их пацифизм, отказ приписывать кому-то больше ответственности за международные конфликты: возможные последствия настолько ужасны, что дележ вины будет не очень интересен.

Чужая культура также компенсирует (конечно, только в небольшой степени) отсутствие "релакса", т.е. расслабленности, тем, что она обладает некоторым числом элементов, которые близки твоей натуре, но которые были подавлены в твоей первичной культуре — старая идея о невероятной гибкости человеческой природы и о том, что в данной культуре реализуется только небольшая часть возможных комбинаций, которые можно извлечь из имеющихся элементов. Оказывается при всей моей общительности я очень люблю идею "прай-веси", особенно в семейной жизни, и в восторге, что общество меня поддерживает в защите и неподотчетности моих вкусов и желаний. Мне ужасно нравится, что студенты всюду располагаются на полу, что они могут как угодно одеваться, что здесь простор для чудаков всех видов и что поэтому я могу контролировать свое поведение меньше, чем раньше.

Тяготы, связанные с переменой культуры, велики в целом для всей эмиграции. Совсем недавнее социологическое обследование, проведенное одним известным ученым, показало, что в то время как примерно четыре пятых в общем довольны своими делами, примерно столько же чувствуют себя в культурном отношении ущербными. Конечно, в большинстве случаев дело просто в языке, который усваивается фантастически долго. (Я этого не подозревал.) Истинные потери испытывает явное меньшинство. Культура важна для тех, у кого сохраняется духовная жизнь. Особенность этой страны состоит в том, что она выявляет в человеке его сущность, которая порой сводится к пылким материальным интересам.

И одно дело иметь пылкий материальный интерес в условиях, когда бизнесменом стать рискованно или даже невозможно, а другое дело здесь. В другой стране такие люди часто даже выбирают профессии ученых и погружаются в интеллектуальную жизнь. Присмотритесь к вашим знакомым, с жаром толкующим о возвышенных материях. "Он в Риме был бы Брут" и т.д.

Правда, есть одно извинительное условие, которое в России создает (или создавало) интеллектуальный накал. Это ответственность интеллектуалов перед обществом. Не смейтесь, пожалуйста. Я, конечно, выбрал не самое удачное время для обоснования этого, впрочем, старого тезиса. И все же эта ответственность, пусть даже она носит чисто поверхностный характер (действия для других, но не для меня) присутствует в психике даже отъявленных циников (пусть в самой малой дозе) и порождает общность интересов, хотя бы на уровне застолья. Все-таки немного найдется людей, которые бы откровенно заявляли, что им на все начхать, кроме своего "я". Но именно это "начхать" происходит здесь с московскими или ленинградскими интеллектуалами. Нынче для них все проблемы культуры сводятся к языку, а не к отсутствию "Нового мира", который здесь легко и дешево выписать, как и все остальные издания.

Три волны эмиграции существенно обогатили Америку в культурном отношении, но, конечно, в разных направлениях. Особенность третьей волны состоит в том, что она очень уважает культуру, в которой она выросла. Ее представители часто публикуют теплые статьи о своих коллегам, что вызывает возмущение у первой волны и, конечно, у второй — самой непримиримой. Две первые волны эмиграции упрекают третью в политической апатии или даже в сочувствии. И только те представители третьей эмиграции, которые похожи на американских фондоматериалистов с их акцентированием религии и традиций, а также предложением вернуться назад, к эпохе до Просвещения, вызывают их поддержку.

Однако при всех этих непримиримых разногласиях все три волны эмиграции заставили Америку больше вникать в русскую и советскую культуру. Музыканты в этом особенно

выделяются. Они выступают примерно в каждом третьем-четвертом концерте, транслируемом по радио. Никогда в Москве или Киеве я не слышал так часто русской и советской музыки, как здесь. И не только Шостакович или Прокофьев, Чайковский или Мусоргский, но даже Глазунов, Танеев, Щедрин исполняются очень часто.

Вообще говоря, представители русской культуры создают мощную базу для ее развития в будущем. Это весьма любопытный и даже странный социальный феномен, который вряд ли имеет прецеденты, по крайней мере в новой истории.

Русская культура занимает заметное место в духовной жизни самих американцев. Конечно, советский интеллигент знает американскую литературу лучше, чем американский русскую, но та же тройка писателей — Достоевский, Толстой и Чехов, — которая заняла первые три места среди классиков в опросе читателей "Литературной газетой", известна и каждому интеллектуалу-американцу. Особенно ценится Достоевский.

Ведущие американские журналы, в частности самый элитарный и либеральный "Нью-йоркское обозрение книг" регулярно печатает рецензии и статьи о русских писателях. Например, за последние месяцы там были большие статьи о Цветаевой, Толстом, Мандельштаме и других.

Большое внимание привлекли лекции по русской литературе покойного Набокова, который поставил двойки Достоевскому и Горькому, но вывел в пятерочники Толстого и Гоголя. Я читал о двоечниках — очень интересно, остроумно и достаточно аргументированно. Кстати, он высоко оценивает Горького как личность и хвалит в виде исключения "На дне".

Культурная жизнь Москвы довольно подробно освещается, в частности, культ Высоцкого был предметом ряда статей, равно как и последние спектакли ("Авось", "Мы нижеподписавшиеся" и т.д.). На английском языке можно прочитать Распутина, Шукшина, Абрамова, Трифонова и других.

Об успехе советских фильмов вы знаете. "Москва", что "слезам не верит", получила две премии — "государственную" и Оскара. Смешно, но даже очень нелояльная к СССР газета на

русском языке изо всех сил рекламирует каждый новый советский фильм и делает это более страстно, чем кинопрокат.

Как заметил однажды один русский автор, Америке есть чему поучиться у русской культуры и у русской интеллигенции. И те ее представители, которые здесь оказались, должны, по его мнению, не торопиться адаптироваться к новой культуре, а сохранять верность старой. И Америка это, в конечном счете, оценит, как она это сделала в отношении эмиграции из Германии в 30-е годы. Мне рассказывали сами американцы, что блестящая плеяда немецких интеллектуалов — Томас и Генрих Манны, Эйнштейн, Шенберг и многие другие — внесли новую струю в культурную жизнь Америки и несколько ослабили ее провинциальность. Посмотрим, как потомки оценят вклад тех, кто приехал сюда в семидесятые.

"ВРЕМЯ И МЫ" ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ

на издание книг, брошюр, каталогов и др. Набор и печать по сниженным ценам. На выпускаемые издания публикуется бесплатная реклама в журнале "Время и мы".



*Александр и Лев
ШАРГОРОДСКИЕ*

ЖЕЛТЫЙ ИММАНУИЛ

В Вене мы жили в гостинице.

В нашей комнате был синий ковер и трюмо с тремя зеркалами на любой вкус — одно вас толстило, другое худило, а третье делало то и другое одновременно. Может, из-за этого нам в Вене было довольно весело.

Наша комната находилась на первом этаже, там же, где комнаты Хиаса и Джойнта, куда с утра до ночи стояли толпы, и пройти в нашу комнату через сомкнутый строй евреев было делом нелегким.

Каждый раз они нас опрашивали: "Куда вы идете?" "Почему без очереди?" "Вы не стояли!" "Что за нахальство!?" Малейший выход из нашей комнаты сопровождался долгим и мучительным возвращением...

Поэтому мы часто уходили утром и приходили поздно вечером.

Мы гуляли по Вене.

Все евреи ездили по Вене зайцем. За всю свою многовековую историю Вена не видела такого количества "косых". Ни один еврей не мог отдать за проезд в трамвае двух кило

бананов — столько стоил билет в пересчете на плоды. Никакие угрозы и предупреждения не могли заставить евреев взять билет — бананы брали свое.

Евреи группами толпились у трамвайных дверей и при виде контролера стремительно выбрасывались из вагона, как воздушный десант.

Венские контролеры долго не могли понять этого группового ныряния, пока не поймали однажды пожилого еврея, который по состоянию здоровья не сумел вовремя выбраться, был отведен в полицию и всех выдал...

Мы никогда зайцами не ездили — бабушка категорически запретила.

Но и бананов мы не отдавали — мы ходили пешком.

Мы гуляли по Рингу, по Карл-Платц, от Оперы до Шенбрунна и от Шенбрунна до Пратера и сэкономии в общей сложности около тонны бананов.

Вена нам нравилась — звоночки трамваев, лошади у Стефен-Кирхе, витрины Грабен-штрассе, колбасы на Флейшмаркт, фонтаны в Бельведере и Рубенс. Почему-то бабушке особенно понравился Рубенс в Национальном музее. Персонаж одной из его картин напоминал бабушке ее сестру, и она посетила музей раза четыре.

Потом бабушка начала искать памятные места Моцарта, и мы все валились с ног от усталости. А когда она решила пойти по бетховенским местам, мы не выдержали и решили купить один проездной билет — для особо уставшего. Особо уставший садился в трамвай и совершал экскурсию по городу, одновременно отдыхая.

Вечером, когда мы, бездыханные, валились на кровати, бабушка брала проездной билет и вновь выходила в город. Она не могла допустить, чтобы билет, за который столько заплатили, лежал без дела.

Уставшая, она колесила из конца в конец и узнала город настолько, что могла бы работать экскурсоводом.

Мы побывали почти всюду, кроме Оперы.

Все восхищались оперой, говорили, что это что-то особенное и что туда надо обязательно пойти.

Бабушка оперу не любила. Более того — она ее ненавидела.

Однажды она прослушала оперу, где Ленин спел свои апрельские тезисы, а Дзержинский пару приказов по ЧК — и это ей отбило вкус к опере на всю жизнь.

— Да вас никто и не заставляет слушать, — говорили евреи, — пойдите, посмотрите, как одеваются люди, какие бриллианты и меха! Где еще вы такое увидите?!

Бабушка не хотела.

— Я ничего не понимаю в опере, — говорила она, — и ничего не понимаю в бриллиантах...

А раз бабушка не шла в оперу, заодно не шли и мы.

И вот однажды вечером, когда все евреи пошли в оперу — давали "Богему" — мы решили пойти в кино. И не просто в кино, а на порнографический фильм. Так сказать, с познавательной целью...

— Вы куда — спросила бабушка, — в оперу?

— Ты что, — невинно сказали мы, — в кино.

— Что-нибудь антисоветское?! — ужаснулась бабушка. — Я вас прошу — только не антисоветское! Не забывайте — Гриша еще там! И Сема тоже...

— Никакое не антисоветское, — успокоили мы, — обычный фильм. Мелодрама.

— Тогда я с вами, — сказала бабушка, — обожаю мелодрамы.

Мы несколько замялись.

— Понимаешь, это особая мелодрама, — сказали мы, — очень тяжелая... И потом на немецком...

— Я его знаю лучше вас, — обиделась бабушка, и мы всей семьей во главе с бабушкой двинулись на порнографический фильм.

В то время, когда все евреи пошли на "Богему". Абсолютно все, даже один глухой!

— Вы же ничего не услышите, Залман Николаевич, — предупреждали его.

— Так увижу, — спокойно отвечал он, — быть в Вене и не увидеть оперу?!..

Кинотеатр был недалеко от гостиницы.

Когда мы вошли в зал, у нас потемнело в глазах — всюду сидели евреи, пошедшие слушать "Богему", а впереди всех —

глухой Залман Николаевич.

Ценители оперы почему-то смотрели в потолок.

— Все-таки какой культурный народ, — заметила бабушка, — другие б пошли в ресторан, напились, как хозейрм, а наши в оперу, в кино. Тяга!..

Бабушка села, и мы тоже тихо опустились рядом.

— Вечер добрый, — сказала бабушка.

Ни один еврей не шевельнулся.

Бабушка снова поздоровалась, но ее почему-то никто не хотел признавать. И друг друга тоже. Все сидели, как чужие, и внимательно изучали потолок. Даже Шалтупер, которому врачи запретили высоко поднимать голову.

Бабушка тоже посмотрела на потолок, но ничего интересного не нашла — потолок как потолок...

— Вы не знаете, кто играет? — спросила бабушка.

Никто не ответил.

— А чей сценарий?

Евреи продолжали изучение потолка.

Наконец потушили свет.

— Как хоть называется? — спросила бабушка.

— Желтая Эммануэль, — сказал Шалтупер, изменив голос.

— Желтый Иммануил? — переспросила бабушка. — Это что — про китайского еврея?

Но музыка заглушила ее слова.

Бабушка протерла очки и начала внимательно смотреть на экран.

— Если вам что-нибудь будет неясно, я переведу, — пообещала она.

То, что происходило на экране, бабушка понимала не совсем.

Вначале она подумала, что это нечто вроде киножурнала "Здоровье" — показывали части человеческого тела.

— Лечение кожных заболеваний, — почему-то перевела бабушка, — современные методы.

Потом пошли другие кадры, и бабушке стало ясно, что это вовсе не кожные заболевания.

— Рассказывается о строении женского тела, — громко сказала она, — анатомия человека.

Никто не возражал.

И тут показали такое, что при всем желании ни к кожным заболеваниям, ни к строению женского тела отнести было нельзя.

От волнения бабушка даже перестала переводить.

— Может, это об урологии, — подумала она вслух.

И вдруг она увидела... Бабушка не поверила. Она сняла очки, протерла — ничего не изменилось. Она еще раз протерла. Нет, это было то, именно то!..

И бабушка решила, что у нее галлюцинации. Она повернулась к нам и тихо спросила:

— Что вы видите?

— Ничего, — ответили мы, — загородный дом, поле. А что?

И бабушка убедилась, что у нее непорядки с головой.

Она оглянулась и, чтобы еще раз удостовериться, обратилась к впереди сидящему Шалтуперу.

— Я извиняюсь. Наум Львович, что вы видите?

Наум Львович стал пунцовым.

— Где? — спросил он.

— На экране, на экране!

Наум Львович светился в темноте, как красный фонарь, и молчал.

— Я спрашиваю, вы что-нибудь видите, чего вы молчите?! сказала бабушка.

— Я вижу, что все видят, — наконец сказал Шалтупер.

— А что все видят? — настаивала бабушка.

— То, что я вижу, — сказал Шалтупер.

— Но что, вы можете сказать, что?!

— Не могу.

— Почему?

— Вы сами видите... Вы, вы можете сказать?

— Я не могу, — ответила бабушка.

— Почему же вы это требуете от меня?

— Значит, вы видите то, что и я?! — ужаснулась бабушка.

— Думаю, что да, — сказал Шалтупер.

— И вам не стыдно?

— А вам? — спросил Шалтупер.

— Я шла на мелодраму! — сказала бабушка.

— А я в оперу, — сказал Шалтупер.

— Вы когда-нибудь такое видели? — спросила бабушка.

— Где я мог такое видеть? — сказал Шалтупер. — Где? В Могилове?

— Какая гадость, — сказала бабушка, — давайте уйдем!

— Давайте, — согласился Шалтупер, — только сначала посмотрим. Я заплатил 30 шиллингов.

— Я была о вас лучшего мнения, — сказала бабушка и поднялась.

— Пошли! — сказала она нам. — Я вам покажу мелодраму!

— Чем мы тебя обманули? — спросили мы. — Разве это антисоветский фильм?

— Хуже, — сказала бабушка, — если б Моцарт такое увидел...

Ценители оперы зашикали на нас.

— Товарищи, вы мешаєте... Потихе.

— Мешаю? — сказала бабушка. — Подождите одну секунду дочку. Она вышла из ряда и стала бегать по залу. Наконец она нашла выключатели и зажгла люстры. Яркий свет осветил любителей оперы — они сидели с открытыми ртами и смотрели на экран...

Когда зажегся свет, все намеренно закрыли рты и опять устали в потолок.

— Диссиденты, — кричала бабушка, — ради этого вы выехали из Союза?! Вы же ехали на историческую родину!.. Где вы сидите?

Все молчали, делая вид, что не знают ни бабушку, ни друг друга, ни исторической родины, ни где они сидят...

— И ради этого стоило проходить таможеню и исключаться из партии?! А? Я вас спрашиваю?

Никто не отвечал. Мы стали тянуть бабушку к выходу. Появился администратор.

Бабушка начала требовать жалобную книгу. Администратор ничего не понимал и все повторял:

Тогда бабушка потребовала прекратить показ фильма.

— Если б это видел Моцарт, — кричала она, — или еще хуже — Бетховен...

Администратор плохо знал великих маэстро, он попросил бабушку покинуть зал, и мы под бабушкин крик "я буду

жаловаться выше" убрались из помещения.

Как на зло, в это время шли выборы. Всюду по городу были развешаны портреты кандидатов, все кандидаты улыбались и шире всех — Крайский.

Все евреи знали, что Крайский — еврей и что его брат торгует пирожками в Тель-Авиве.

Но бабушка не верила.

— Какой он еврей, — кричала она, — хозейремская морда. Во-первых, он не похож, а во-вторых, ни один еврей не разрешит такую "мелодраму", как эта!

И она решила жаловаться другому кандидату — с усами и большой шевелюрой, который был похож на еврея.

Мы говорили бабушке, что он никакой не еврей, что он правый, но бабушке он нравился, и она решила его найти. И сделала это очень быстро. До выборов оставалась неделя, и кандидаты выступали повсюду. Наш усатый, как назло, выступал прямо в метро. Не успели мы туда спуститься, как бабушка увидела его. Усатый держал речь. Он обещал. Он уверял и улыбался. После речи он пошел по кругу, пожимая всем руки.

После того как он пожал руку бабушке, она сказала:

— Вы знаете, что творится?

Кандидат не знал.

— Вы знаете, что творится в городе, где протекает голубой Дунай?

Кандидат ничего не знал.

— Я не могу вам рассказать, — сказала бабушка, — я женщина. Пойдите и посмотрите вашего "Желтого Иммануила". Моцарт с Бетховеном переворачиваются в гробу...

Бабушка подробно рассказала, что она видела.

Кандидат слушал внимательно. Ни один кандидат в депутаты так не слушал бабушку, как этот правый. Он все понял и громкогласно обещал бабушке, прямо в метро, перед венской толпой, немедленно покончить с порнографией, как только его выберут канцлером.

Бабушка спросила, не может ли он с этим покончить раньше.

— Не в моих силах, фрау, — сказал усатый, — власть у Крайского.

— Он хозейрм, — сказала бабушка.

— Точно, — сказал кандидат, — вы будете голосовать за меня?

— Что за вопрос, — сказала бабушка, — двумя руками! Но бабушке проголосовать не дали.

Она еще не была гражданкой... Шесть дней, чтобы стать гражданкой, — это все-таки маловато.

Бабушка написала плакат и целый день демонстрировала перед зданием правительства, требуя права голоса и запрещения порнографии.

Она не добилась ни того ни другого.

Выбрали Крайского, а если б бабушка голосовала, — может быть, был бы усатый. И покончили бы с этой порнографией. А то она идет и идет, хотя евреи — большие любители венской оперы — уже не смотрят ее в темном зале города, где течет голубой Дунай и где жили Моцарт и Бетховен.

Их стало мало в Вене. Теперь их быстро отправляют в Рим. Говорят, после инцидента с бабушкой.

Крайский был очень недоволен ее поведением.

Не знаем, так говорят...

"UNICA DONNA PER ME"

Каждый, конечно, вспоминает свою школу и свою первую учительницу, но если вы пошли в школу на восьмом десятке и ваша учительница раза в три моложе вас, вы вспоминаете все это с особым чувством.

Впервые я пошел в школу в Италии, в семьдесят четыре года, изучать английский язык, поскольку, если вы хотите ехать в Америку, будьте добры изучить ее язык.

Так получилось, что никогда раньше я в школу не ходил, а пошел сразу на рабфак, а потом в институт, перескочив через школу примерно так же, как Монголия перескочила через капитализм.

Я приехал в Италию и стал школьником. Это довольно приятно, когда твои школьные годы выпадают на такой возраст.

Возможно, каким-либо интеллектуалам, которые учатся всю жизнь, вроде моих детей, это и не понять, но я это ощущал, как подарок, и за все месяцы моей учебы не пропустил ни одного урока.

Наша школа английского языка стояла в самом центре города, на площади, и принимали туда только евреев в отличие от английских школ той "великой страны", которую мы, слава Богу, покинули.

В нашем классе я был самый старший, если не считать Ханны Хаимовны, моей соседки по парте, возраст которой никто не мог определить, так как в свидетельстве о рождении она была четвертого года, в удостоверении, которое она тайно провезла, — седьмого, а в визе — одиннадцатого...

Лучшим учеником у нас был Шапиро из Киева. Он знал около ста слов, мог поздороваться и попрощаться, а однажды даже спросил у нашей учительницы, который час. И она его поняла! Но что ответила, — не понял никто.

Правда, поговаривали, что Шапиро брал уроки еще в Киеве, но он это упорно отрицал, скромно заявляя, что у него просто способность к языкам.

Сзади меня сидел Фильштинский...

По английски он не понимал почти ни слова, но всех уверял, что блестяще знает французский. У нас были подозрения на этот счет, и мы все хотели его проверить, но так и не нашли, кто бы это мог сделать.

Фильштинский часто пропускал уроки, посещая вместо них "пяточок", где он успешно торговал привезенными из Минска товарами широкого потребления.

Как можно сачковать в таком возрасте?.. Он говорил, что в России был главным бухгалтером белорусского министерства финансов, хотя я прекрасно знал, что он работал счетоводом на третьей консервной фабрике.

Но если человеку хочется быть главным бухгалтером министерства, — пусть будет... Зачем только регулярно таскать в класс кошелки, набитые товарами народного потребления и прямо с урока, сломя голову, нестись на пяточок?! Ну, ну...

Блох, которому было под сорок и который был самый молодой из нас, вообще на "пяточок" не ходил и все свобод-

ное время проводил на пляже, копя силы на будущее. Он что-то собирался открыть в Канаде, но что именно, — никто не знал... Во всяком случае он был самым загорелым и позволял себе приходиться в класс прямо с пляжа в майке и шортах. Это никого не шокировало, кроме Ханны Хаимовны, которая говорила, обращаясь неизвестно к кому:

— А?.. Как вам нравится эта свобода?

Класс у нас был дружный, на переменках мы всегда жевали булочки с мортаделлой или мандарины, которые шли тогда по пять кило на милю, и делились информацией, полученной из писем. По письмам получалось, что в Австралии хорошо, но скучно, в Новой Зеландии скучно, но можно стать миллионером, в Америке миллионером не станешь, зато дают пенсию старикам, а в Канаде никакой пенсии, но через три года можно получить гражданство. Вот иди выбери, куда ехать.

Ханна Хаимовна всегда говорила, что надо было ехать в Израиль. Иногда она приносила вырезки из советских газет, которые ей присылали из Кишинева, и читала нам про ужасные вещи, происходившие с бывшими гражданами еврейской национальности, покинувшими свою родину: профессура обычно мыла полы, ученые таскали мешки с зерном, юристы торговали наркотиками, а один глазник — светило с мировым именем — почему-то работал вышибалой в гареме.

Мы так удивились, что даже переспросили.

— Может, евнухом?

— Нет, нет, — возразила Ханна Хаимовна, — в газете ясно указано: вышибалой!

И, вздохнув, добавила, что надо было ехать в Израиль...

Английский нам преподавала миссис Элис. Моя первая учительница была из Нью-Йорка — высокая, очень стройная, с длинными распущенными волосами и несколькими браслетами на каждой руке. Видимо, из-за жаркого итальянского лета она носила легкие, прозрачные платья, и мы все не знали, куда девать глаза. Все, кроме Блоха, который вел себя просто неприлично.

Несколько раз в особенно душные дни миссис Элис давала нам уроки в бикини, и тогда Блох пересаживался на первую

парту и слушал ее особенно внимательно.

Шапиро утверждал, что такую учительницу давно бы выкинули из системы просвещения СССР. Мы соглашались, но предпочитали такую всем учительницам системы среднего и высшего образования страны победившего социализма вместе взятым.

У нее была чуть смуглая кожа и раскосые глаза, как утверждали, из-за примеси филиппинской крови. Когда-то она была актрисой и играла на Бродвее, но потом что-то случилось, она бросила театр и поехала в Италию преподавать английский евреям. Как вы уже догадались, она еврейкой не была. И слава Богу. Потому что все время быть среди евреев, это тоже, надо сказать, тяжеловато.

Миссис Элис нас любила, несмотря на то что мы всегда галдели и задавали бесконечные вопросы, не давая ответить и вообще не давая вставить слово. Она никогда не вызывала нас по фамилиям, скажем, Шапиро или Блох, или там Фильштинский... Никогда. Она звала нас по именам... Ханна, Лазарь, Майкл...

Меня она называла Соломон. Это было приятно. Тем более что в России это имя звучало, как оскорбление.

По праздникам она делала с нами "лехаем", пела "Хава-Нагилу" и танцевала наши еврейские танцы, о которых мы даже не слышали...

Короче, она была "менч" — моя первая учительница.

Мы с ней переписываемся. Правда, по русски, потому что английский я так и не выучил, как, впрочем, и другие евреи. Зато мы ее немного научили русскому...

В школу я ходил всегда с внуком. Скажите, где это видано, чтобы дед ходил в одну школу с внуком и на стенах писали политические лозунги? Только в Италии. И только в Италии есть пицца, от которой у меня не болел живот. Кто бы мог подумать, что я когда-нибудь буду есть пиццу с моим желудком. Если бы я съел такую пиццу в Москве, я б уже не добрался до Рима и в школу уже не пошел. Да, в Италии мне все шло на пользу. Даже терроризм. Вы будете смеяться, но это так. Мало того что "там" я был евреем, так я еще заикался и немножко картавил.

В Италии мы снимали "апартаменто" рядом с местным отделением коммунистической партии. Меня предупреждали, что лучше это "апартаменто" не снимать, так, на всякий случай. Но там было дешево, там было без маклерских, недалеко от базара и близко от моря.

И мы сняли.

В Италии я заикался одиннадцать дней. На двенадцатый день раздался страшный взрыв — взорвали местное отделение этой партии.

Взрыв был оглушительный — проснулся весь город, итальянцы в нижнем белье метались, как кони на пожаре, — они думали, что это землетрясение. Но когда дым рассеялся, — вы можете мне не верить, — я перестал заикаться...

Мне потом говорили, что это шок. Шок-шмок — называйте, как хотите, но теперь, если не считать, что я картавлю, — а здесь это не дефект — у меня красивая и плавная речь.

Каждое утро мы с внуком отправлялись в школу. Родители внука, московские интеллектуалы, которые вместе кончили пять институтов, уезжали в Рим изучать достопримечательности, а моя жена шла на кухню. Поэтому Москва мало чем отличалась для нее от Вены, а Вена от Рима.

Она нам готовила такие обеды, что даже итальянцы говорили, что у них так готовят считанные единицы, где-то там, в Специи, и предлагали ей открыть trattoria, но мы должны были ехать в Америку...

По дороге в школу я любил читать надписи, которые делают итальянцы на заборах, стенах и даже памятниках выдающимся людям, включая Гарибальди. На некоторых стенах домов оставались оборванные плакаты, где на скамеечке сидели Ленин и Сталин и скромно улыбались... Обидно, конечно, что они улыбаются в такой стране, как Италия, но, как говорит Ханна Хаимовна, "свобода!" Ну, ну...

В то утро мы, как всегда, шли в школу. Мы шли по солнечной стороне улицы, потому что утром еще не жарко, и я насвистывал себе под нос "Unica donna per me". В то лето это была самая популярная песня. Старый еврей идет вдоль Тирренского моря и насвистывает итальянскую песню, вы видели где-нибудь такое? Помимо всего прочего, в Италии я еще и запел.

Где-то в районе "пяточка", свободном в это время суток от евреев, я вдруг вспомнил, что забыл, как по-английски "почему". А я ведь думал, что выучил это слово на всю жизнь.

— Слушай, — сказал я внуку, — "почему"?

— Что "почему"? — спросил он.

— Скажи мне "почему" — попросил я.

— "Почему" что? — переспросил он.

— "Почему" по-английски, — уточнил я.

— Я тебе сто раз уже говорил, — сказал он.

— Ты же знаешь, эта башка уже ни черта не держит.

— Why — сказал внук — why!

— Ну, конечно же, "why"! — вскричал я, — это так легко запомнить. Это почти по-еврейски. Вай змир, вэй эмир... Нет, ты действительно очень способный, ты все схватываешь с первого раза, и, я думаю, что ты будешь врачом.

Зачем я это ляпнул, я не знал. Можно подумать, что я их так люблю.

— Я никогда не буду врачом, — ответил внук.

— Слава Богу, — подумал я, — а кем же ты будешь?

— Я буду американским поэтом, — сказал внук.

— Нет, нет, — сказал я, — поэты мало живут. Возьми Пушкина, возьми Лермонтова, возьми кого угодно. Двадцать семь лет — что это за жизнь. Нет, нет, поэты живут совсем мало.

— И американские тоже? — спросил внук.

— А что они не люди, — сказал я, но насчет американских поэтов уверен не был.

Я стал твердить про себя это "why", чтобы запомнить его раз и навсегда, как возле отеля "Бельведер" мы повстречали Ханну Хаимовну. У Ханны Хаимовны был всегда встревоженный вид, но сегодня больше обычного.

— Что случилось, Ханна Хаимовна? — спросил я.

— Надо было ехать в Израиль! — сказала Ханна Хаимовна. Этой фразой она начинала и кончала все беседы.

— А все же? — спросил я, — что стряслось?..

— Я не могу при ребенке, — сказала она.

Я попросил внука идти чуть впереди нас, и Ханна Хаимовна начала рассказывать:

— Вчера мы получили вырезку из нашей кишиневской га-

— Вашей?

— Ай, не придирайтесь к словам. Так они там пишут, что большинство наших женщин в Нью-Йорке, знаете, кем работают?

— Нет...

— Проститутками на Бродвее! А что вы скажете?

— А что я могу сказать?

— Как что, ведь я еду в Нью-Йорк! Мы уже прошли консула.

— Все устроится, — успокаивал я Ханну Хаимовну.

— А мужчины, — продолжала она цитировать кишиневскую газету, — вы знаете, кем работают мужчины?

Я не знал и честно признался в этом.

— Они работают, подождите, они работают...

Она полезла в сумку и достала оттуда вырезку из газеты:

— Вот... Сутенерами!

Она сделала паузу.

— Что это такое "сутенер"? Вы знаете?

— По-моему, они помогают проституткам, — сказал я.

— В каком смысле? — спросила Ханна Хаимовна.

— Ну что-то вроде начальника отдела кадров у них...

Тут, слава Богу, нас догнал Фильштинский со своей вечной сумкой, наполненной до краев, и Ханна Хаимовна начала рассказывать ему все сначала.

Когда мы подошли к школе, то заметили какое-то необычное оживление. На площади стояли два джипа с карабинерами, никто ничего толком не знал, а наш директор метался по двору быстрее обычного и просил нас не скапливаться и разойтись по классам.

Директором нашей школы был цудрэйтэр, а между нами, — просто мишуге, мистер Барн. Он систематически врвался к нам в класс во время урока, отстранял миссис Элис и, тыча синим пальцем в кого-нибудь из учеников, кричал, будто началось наводнение.

— What's your name? What's your name?

Это называлось проверкой знаний учащихся. Ошарашенные евреи обычно забывали не только свой английский но свое имя, а заодно и фамилию и, стыдливо глядя в глаза

сумасшедшего мистера Барна, молчали. Тогда мистер Барн начинал вопить, будто его придавило грузовиком.

— What's your profession? What's your profession?

Это был второй вопрос по проверке знаний учащихся.

На него, видимо уже придя в себя, евреи обычно отвечали: "I am Shapiro , I am Filshtinsky".

Здесь наступала тяжелая пауза... Наш мишуге наливался кровью и, крутя синим пальцем у красного виска, давал понять представителям великого еврейского народа, что они того...

Помимо синих пальцев у мистера Барна была и синяя борода — мистер Барн не только заведовал школой, но был еще и художником-маринистом, писал морские пейзажи и всегда был перепачкан синими, голубыми и другими красками моря. И, хотя никогда не пил, однажды заявился в школу с лазурным носом. Свои полотна он продавал на Пьяцце Навона, естественно, после рабочего дня, просил немного, а евреям, поскольку знал, что у них тяжело с деньгами, делал "сконти", то есть скидку.

Евреи благодарили за "сконти", но картин не покупали, объясняя это плохим знанием живописи и современных авангардистских течений. Мистер Барн не обижался, так как картины не покупали не только евреи, но и дети других народов. И если б не должность заведующего, он бы просто протянул ноги.

В то утро миссис Элис поставила нам "Скрипача на крыше". Я вам скажу — это даже не Ойстрах, не говоря уж о его сыне. Это что-то особенное! Мурашки по коже! Я не разбираюсь в музыке, но я хорошо разбираюсь в мурашках. Короче, не успел этот певец — я не знаю, как там его зовут, но это гениальный певец, если хотите, не хуже Эпельбаума — так вот, не успел этот Эпельбаум спеть, если вы помните: "If I was a rich-man", как в класс влетел наш мишуге мистер Барн и стал что-то неистово орать.

Мы, как всегда, ничего не поняли, помолчали, и Шапиро, видимо, на всякий случай сказал:

— I am Shapiro.

Лазурные тона мистера Барна начали медленно переходить

в багровые, он опять произнес свою тираду, медленно, почти по слогам. Несмотря на это, мы опять ни черта не поняли, переглянулись, после чего Шапиро почти без акцента опять сообщил, что его зовут Шапиро.

Здесь впервые за все время мистер Барн стал зеленым. Можно было подумать, что он рисовал не море, а лес.

Мы стали подозревать, что он спрашивает нас не имя и даже не фамилию, а что-то совсем иное. Но что? Вопрос общими усилиями мы, конечно, задать бы могли, но кто мог понять ответ?

— Подождите, — сказала Ханна Хаимовна, — он вроде спрашивает что-то другое.

— Что другое он может спрашивать, — удивился Шапиро, — не фамилию, так профессию.

И он сообщил свою профессию. Причем почти без акцента. Лицо мистера Барна окрасилось в цвет, которого, по крайней мере, в спектре не существует...

После этого он исчез и через минуту вновь появился в сопровождении моего внука. Я вам не зря говорил, что он способный мальчик. Я хотел предложить ему булочку с мортаделлой, но этот мишуге устроил такой гвалт, что я все понял без переводчика.

Затем мистер Барн сел и заговорил как-то неожиданно спокойно, а мой внук, этот способный мальчик, начал переводить.

— Сегодня утром, — переводил мой талантливый внук, — кто-то позвонил в полицию и сообщил, что в нашем городе высадились четыре палестинских террориста...

— Что?! — завопила Ханна Хаимовна, — террористы? Зачем они здесь высадились, а, я тебя спрашиваю?

— Я не знаю, — сказал мой внук.

— Так спроси у него! Чего ты стоишь как истукан?

— Shut up! — закричал мистер Барн. Shut up!

— Вы на меня только не кричите, — спокойно сказала Ханна Хаимовна, — мы не в Кишиневе.

Мистер Барн ничего не понял и продолжал:

— Террористы, вооруженные до зубов, — переводил мой внук, — хотят захватить школу и взять учеников в заложники...

Надо признать, что никакой паники не было. Ни шума. Ни криков. Только Ханна Хаимовна тихо покачала головой и сказала:

— Боже мой, кому мы нужны? Только арабам и нужны. Затем она помолчала и добавила:

— А может, лучше погибнуть в честном бою, чем работать проституткой на Бродвее.

— Ханна Хаимовна, — сказал Шапиро, — я прошу вас, Ханна Хаимовна...

— Разве я о себе, — сказала Ханна Хаимовна, — у меня есть дочь.

— О чем вы говорите, — философски заметил Фильштинский, — перед лицом такой опасности? Черт с ним, захватят меня, но ружье, если они захватят, фото-ружье... Вы знаете, сколько мы за него платили?

Все, кроме мистера Барна и миссис Элис, знали...

— Жена говорила — не бери, как чувствовала.

Фильштинский принялся гладить свое фото-ружье.

— Мы, — продолжал переводить мой внук, — не боимся ни ни палестинских, ни армянских, ни баскских, ни прочих террористов и не собираемся нарушать учебный процесс. Все занятия будут продолжаться. У меня только к вам просьба — к окнам не подходить и при первых выстрелах лечь под парты. Можете не волноваться — школа окружена итальянской полицией, и вы в полной безопасности.

Мы как по команде бросились к окнам, выходящим на площадь, и услышали сзади истошный вопль нашего мишуге:

— Я же вам приказал не приближаться к окнам! — произнес мой внук.

— Еще ты нам будешь указывать, — огрызнулся Шапиро, — и по пояс высунулся из окна.

— Это не я, — обиделся мой внук, — я только перевожу.

Но Шапиро ничего не слышал. Его голова висела над площадью, и он вслух на идише считал количество боевых соединений, прибывших нас охранять.

— Я кому говорю, — бубнил сзади мой внук, — я что, стенке говорю?! Немедленно сесть. Я вас исключу, господин Шапиро, вы слышите?

Господин Шапиро не слышал.

Тогда мистер Барн подскочил к господину Шапиро, обхватил его и, оторвав от окна, понес к парте.

— Антисемитизм! — кричал Шапиро, дрыгая ногами, — их всего двести человек! И такими силами они думают нас защитить. Им плевать на евреев.

Мистер Барн засунул Шапиро за парту и закрыл окно.

— Им плевать на евреев! — продолжал кричать Шапиро с задней парты.

— Всем плевать на евреев, — подхватила Ханна Хаимовна, — надо было ехать в Израиль...

Тут раздался страшный гул, и мы все заметили, как к школе приближаются три бронетранспортера с карабинерами на борту.

— Ну еще одна рота, — орал Шапиро, — курам на смех! Знаем мы, как воюют итальянцы.

Он вдруг вскочил на парту, глаза его горели...

— Товарищи, — с пафосом произнес он, — добровольцев прошу сделать шаг вперед.

— Мы не товарищи, — ехидно заметил Блох.

— Простите, господа, — поправился Шапиро, — господа, добровольцев прошу сделать шаг вперед.

— Каких еще добровольцев? — спросила Ханна Хаимовна. — Говорите яснее, что вы имеете в виду.

— Я имею в виду организовать самооборону, — сказал Шапиро. — Добровольцы, шаг вперед!

Весь наш класс сделал шаг вперед. И миссис Элис тоже. Как она поняла, — не знаю. Просто она нас очень любила.

— Есть ли среди вас офицеры? — спросил Шапиро.

Фильштинский и Блох оказались офицерами.

— Господа офицеры, — обратился к ним Шапиро, — прошу за мной.

Господа офицеры прошли к парте Шапиро, под которой стояла огромная сумка, с которой Шапиро иногда ходил на "пятак". Он бросился к ней, и оттуда полетели хохлома, ложки, сигары, экспонометры, духи "Красная Москва", градусники и, наконец, Шапиро достал из сумки непонятный металлический предмет.

— Что это? — с ужасом спросила Ханна Хаимовна.

— Это — ракета! — гордо объяснил Шапиро. — Стреляет с плеча. Он хотел показать, как стреляет ракета, но Ханна Хаимовна так завопила, что Шапиро немедленно снял ракету с плеча.

— Где вы ее взяли? — спросила Ханна Хаимовна.

— В Киеве, — пояснил Шапиро, — в подшефной части.

— А как же вам удалось ее провезти через таможеню?

— Не ваше дело, — вдруг резко отрезал Шапиро, — я же вас не спрашиваю, как вы протащили ваши кораллы?

Ханна Хаимовна обиделась.

— Между прочим, — продолжал Шапиро, — я привез три. Две я уже продал. Слава Богу, эта осталась.

Он вновь полез в сумку, достал три автомата Калашникова и семь биноклей и стал их раздавать.

— Только не разбейте, — предупреждал он всех, — жена убьет...

— Всем сесть, — вдруг сказал мой внук. — Сесть и начать урок.

— Ты опять командуешь? — строго сказал Шапиро.

— Это не я, — заплакал внук, — я вам говорил. Это дядя!

— Дядя! — вдруг по русски, видимо, от волнения, завизжал мистер Барн. — Это дядя! Дядя! Нэмэдлэнно нашинайт урок!!!

— Ша, ша, — успокоил Шапиро, — без тумл. Сейчас начнем, я только раздам оружие... И он протянул мистеру Барну плечевую ракету. — Держите, а то я не умею пользоваться.

Мистер Барн показал головой:

— I am pacifist! I am pacifist! — И, опираясь на моего внука, он быстро покинул класс.

Шапиро быстро распределил арсенал, причем получилось так, что у господ офицеров оказались бинокли, а у меня, миссис Элис и Ханны Хаимовны — автоматы Калашникова. Плечевая ракета, наша главная сила, стояла посередине класса не было ясно, кто же должен был из нее стрелять...

Пока мы занимались распределением оружия, на площади шла передислокация итальянских войск.

— Надо было ехать в Израиль, — вздохнув, сказала Ханна

Хаимовна, — там тоже все чужое, но свое.

— Почему ж вы не едете? — спросил Блох.

— Куда ж я могу ехать, когда мы окружены, — резонно ответила Ханна Хаимовна. — И потом, если б там не было так жарко. Она стала щелкать затвором автомата.

— Отставить! — приказал Шапиро.

Но Ханна Хаимовна заявила, что она хотела бы овладеть огнестрельным оружием до того, как нас захватят, и не подчинилась приказам Шапиро.

Пока шел спор, итальянские части вновь начали передислокацию. Шапиро вылез из окна и снова принялся считать. По его подсчетам, выходило, что у них уже около тысячи.

— Нет, — заметил он, — все-таки они не антисемиты.

Мы все несколько успокоились, и все бы было хорошо, если бы Фильштинский опять не вспомнил о своем фоторужье.

— Слушайте, — сказал Фильштинский, — у меня есть фоторужье, и, если мы сделаем снимки, а затем продадим их какому-нибудь журналу, вы знаете, сколько мы заработаем?

Мы задумались.

— Что вы думаете, — сказал Фильштинский, — вы не знаете капитализма! За сенсационное фото здесь платят бешеные деньги...

— Может, подождать террористов? — предложил Блох, — фото будет сенсационное, и за него дадут больше.

— Нечего ждать никаких террористов! — отрезал Фильштинский. — Может, они вообще не появятся.

Он побежал к своей сумке и достал фоторужье. Оно было значительно больше и страшнее плечевой ракеты Шапиро. К тому же очень тяжелое. Мы несли его к окну всем классом, как то знаменитое бревно с ленинского субботника.

И тут-то все и началось...

Когда в проеме окна еврейской школы появилось фоторужье Фильштинского, итальянская полиция открыла огонь. Дело в том, что, как потом утверждали специалисты, фоторужье Фильштинского как две капли воды походило на бузук, часто используемую террористами.

Итальянская полиция решила, что палестинцы проникли к

нам в тыл, захватили школу и сейчас начнут обстреливать их. Этого они допустить не могли и, немедленно перейдя в атаку, начали стрельбу из всех орудий.

— Женщинам — лечь! — приказал Шапиро.

Никто из них не пошевелился, а Ханна Хаимовна вскинула автомат, навела его почему-то на потолок и хотела нажать курок.

Мы успели у нее забрать автомат и передать его Блоху, но она устроила такой хай, что мы не слышали приказов Шапиро, и автомат ей пришлось вернуть. Только тут наступила тишина. Ханна Хаимовна прекратила хай и, неизвестно почему, одновременно с ней итальянцы прекратили обстрел школы.

Мы воспользовались паузой, чтобы спрятать наших женщин, используя как убежище учительский стол, но они обе сопротивлялись, и у нас ничего не получилось. Ну хорошо — Ханна Хаимовна, но почему миссис Элис, эта женщина с примесью филиппинской крови, должна была страдать из-за евреев?

Видя, что террористы не отвечают, итальянцы перешли в наступление и начали приступ школы. Мы все кричали Фильштинскому, чтобы он убрал ко всем чертям свое фото-ружье из окна, но оно, как назло, застряло, вызывая гнев полиции. Обвешанный с ног до головы биноклями, Шапиро носился по классу, приставал ко всем, кто где служил во время войны, кто был в каком чине и, выяснив, что никто не был выше капитана, а он как-никак майор, взял командование на себя.

Сначала он решил перейти в контрнаступление, но, сравнив наши силы с итальянскими и вспомнив к тому же, что они наши союзники, попросил Фильштинского дать ему белый флаг.

— Откуда у меня белый флаг? — возмутился Фильштинский.

— А простыня? — заметил Шапиро. — Вы взяли простыню на продажу?

— Да, — кричал Фильштинский, — но она цветная. Она даже трехцветная. Зачем вам французский флаг?

— У вас есть белая, — настаивал Шапиро, — белая!

— Нет, — кричал Фильштинский, — нет! А если даже и есть, — не дам? Она новая! Я за нее возьму три мили! А то и четыре!

А что я возьму за прострелянную?

— Кто, наконец, командующий? — зарычал Шапиро. — Где это видано, чтобы спорили с командующим?! Они уже начали штурм! Дайте немедленно простыню! Он выхватил простыню и начал размахивать ею из окна.

Но итальянцы, увлеченные штурмом, совершенно не реагировали на новую простыню Фильштинского, и через несколько минут школа пала. Нас всех почему-то приняли за террористов, арестовали и отвезли в местную тюрьму. Говорили, что такого успеха итальянская полиция не знала давно.

В тюрьме нас накормили: дали жареную курицу, спагетти, неаполитанскую пиццу и бутылку красного вина на двоих. Мне повезло — я пил с миссис Элис. Детей кормили в другой камере, причем, как утверждали, значительно лучше.

Все-таки они не антисемиты, — сказал Шапиро.

Фильштинский ничего не ел. Он без конца разглядывал свою простыню, причитая: "прострелили, таки-прострелили! Мне за нее и мили не дадут".

Кстати говоря, Фильштинский потом свою простыню продал. И не за милую, а за сто. Дали, как за реликвию.

После ужина выяснилось, что мы не палестинцы, а евреи. Что в полицию звонил какой-то сумасшедший и что террористы вообще не приедут. Нас всех выпустили и развезли по домам на голубых мерседесах итальянской полиции.

Дома нас с внуком встречали, как героев. Моя жена, бабушка моего способного внука, плакала и целовала нас, всех соседей и даже консьержа — единственного итальянца, которого я недолюбливал. Родителей моего внука, конечно же, дома не было. Они, как всегда, изучали Рим до глубокой ночи.

Эмигранты дарили нам матрешек и прочую хохлому, а консьерж, видимо, растрогавшись, снизил месячную плату за апартаменты.

Наша бабушка, эта "unica donna", приготовила полный обед, и, хотя мы кричали, что только что из-за стола, потащила нас обедать и заставила съесть и спагетти, и печенку, и фаршмак, и тертую редьку, и щи, и котлеты, и снова спагетти.

Вечером я сидел на полусломанном стуле под пинией. Мимо шли евреи с "пяточка", из сумок торчали матрешки,

самовары, бинокли. У одного торчало фото-ружье, но это был не Фильштинский... Со стены противоположного дома с плаката, сидя на скамеечке, мне улыбались Ленин и Сталин.

Из бара доносилась "Unica donna per me", и запахи пиццы и капуччино встречались где-то у моего носа.

Я сидел на полусломанном стуле, мой внук собирал на земле неизвестные мне орехи, а моя unica donna немножко причитала. Я сидел под пинией. У меня не было ни дома, ни машины. Дети с их специальностями вряд ли могли рассчитывать на работу, и жена моя переживала за все на свете. Я не понимал языка, меня чуть не захватили в заложники, и мы даже не знали, куда едем — в США, Канаду или Новую Зеландию. Но мне было хорошо! И мне хотелось жить!.. Мы болтали с внуком.

— Слушай, — сказал я ему, — запомни этот теплый вечер, эти запахи, это небо и, когда подрастешь и станешь писателем или поэтом, опиши все, опиши, как мы жили здесь, а?

Он хрустел неизвестными мне орехами.

— Нет, — сказал он, — я поэтом не стану. Ты же сам говорил, что поэты мало живут...



ЖИВОПИСЬ ЛЬВА МЕЖБЕРГА

Льву Межбергу 48. Когда говоришь с ним, слышишь интонации и произношение уроженца Южной России. Однако Межберг не утомит собеседника длинными монологами, экспансивными восклицаниями или шумным весельем южанина. Он немногословен, негромок. И лиризм ему явно ближе, чем экспрессия.

Впечатление от личности самого художника вполне совпадает с впечатлением от его творчества. Картины Межберга лиричны и камерны.

Таков, например, его профильный "Автопортрет". Он не принадлежит к автопортретам, где художник тщательно фиксирует свой внешний облик. Сходство с моделью здесь весьма приблизительное. Кажется, что это голова высокого худого человека. Исчезла мягкость линий лица, они заострились. Черты его более благородны, чем красивые, а мысль, читаемая в этом лице, более обращена в прошлое, чем в будущее. Человек, изображенный на портрете, — это, скорее, один из многих русских евреев-интеллигентов, покинувших в последние годы Россию. Сам Межберг уехал десять лет назад. И хотя за это время он добился на Западе признания, — его вещи выставляются, их покупают, — он тоскует по Одессе, тоскует так же, как любой эмигрант по городу, из которого уехал навсегда.

В "Автопортрете" Межберг достиг того обобщения, которое невольно прорвется всякий раз, как только художник задается целью показать не то, как он выглядит, а то, что он есть.

Эта цель — показать не внешние черты, а суть явления — и в полотнах, изображающих Иерусалим. В них нет восточной пестроты, ковровых красок, этнографических подробностей. Нет обжигающего слепящего солнца. Только вечность камня и выжженный до белесости воздух. Вечность города и вечность солнца. Но уже сама по себе так поданная тема Иерусалима может быть под силу лишь монументалисту. Лирическое же дарование Межберга сопротивляется монументализму. Может быть, именно стремясь преодолеть это сопротивление, он и выбирает для этих картин огромный размер. Размер поражает, но в Иерусалим не хочется. Каменный вечный город Межберга холоден.

Сердечную радость зритель найдет не в огромных полотнах, посвященных Иерусалиму, а в натюрмортах Межберга. На светлой — чуть желтой, чуть зеленой, чуть розоватой плоскости — такие же светлые глиняные вазы, бутылки, книги, кусок хлеба, картофелины.

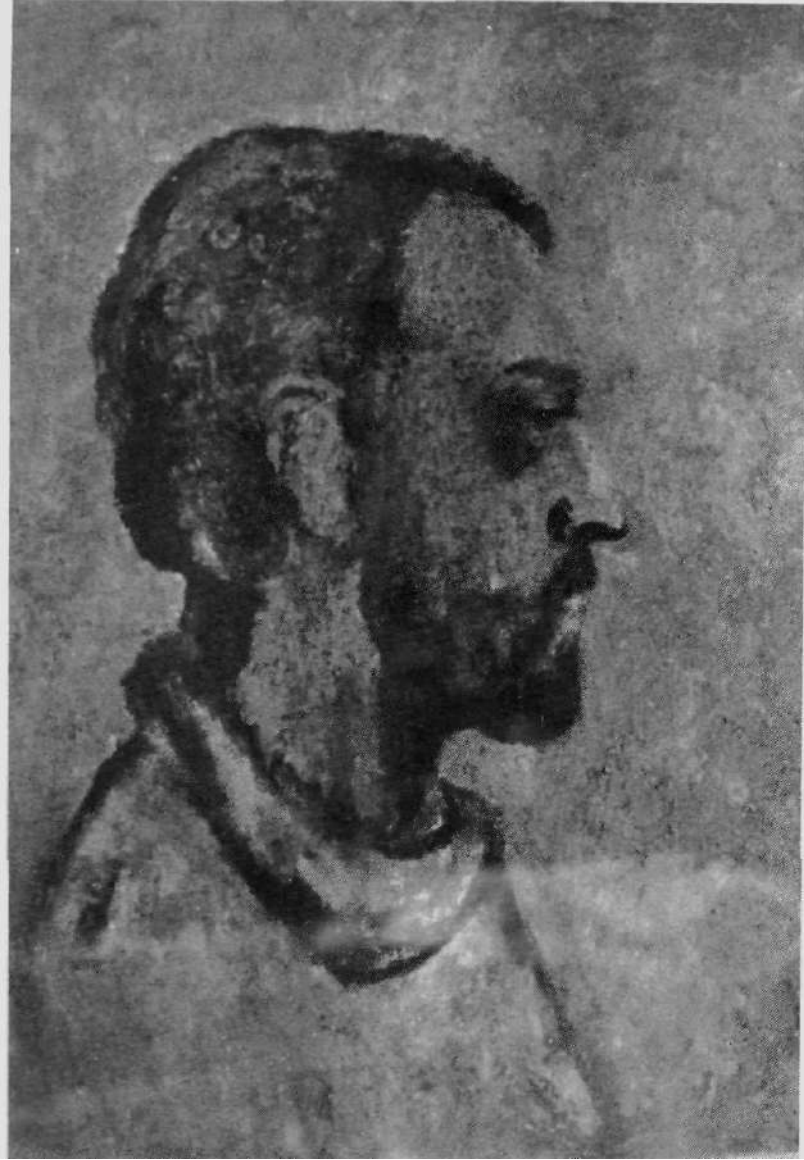
Межберг не пугает зрителя иррациональной жизнью вещей, не разлагает их на составные элементы и не создает конструкции. Изображенные им предметы не деформированы, легко узнаются, вполне реалистично написаны. Тем не менее Межберг очень далек от натуралистического их показа — не констатация предметного мира занимает его, а опозитизация этого мира. И он достигает этого не противопоставлением цветов, а мягким их перетеканием из одного в другой. Лишь иногда Межберг не удержится и кинет на полотно яркий цветок или птицу. Однако лучшие вещи выдержаны целиком в пастельных тонах.

Дать на светлом, подчеркнуто плоском фоне такие "бесцветные" предметы, как, скажем, картофелины или раковина-пепельница с окурками и пеплом, — это сложнейшая живописная задача. Передача тончайших градаций и оттенков цвета требует виртуозности. А изысканность то и дело грозит перейти в манерность. Но Межберг с этой задачей справляется. Его неживая природа прелестна в своей живости.

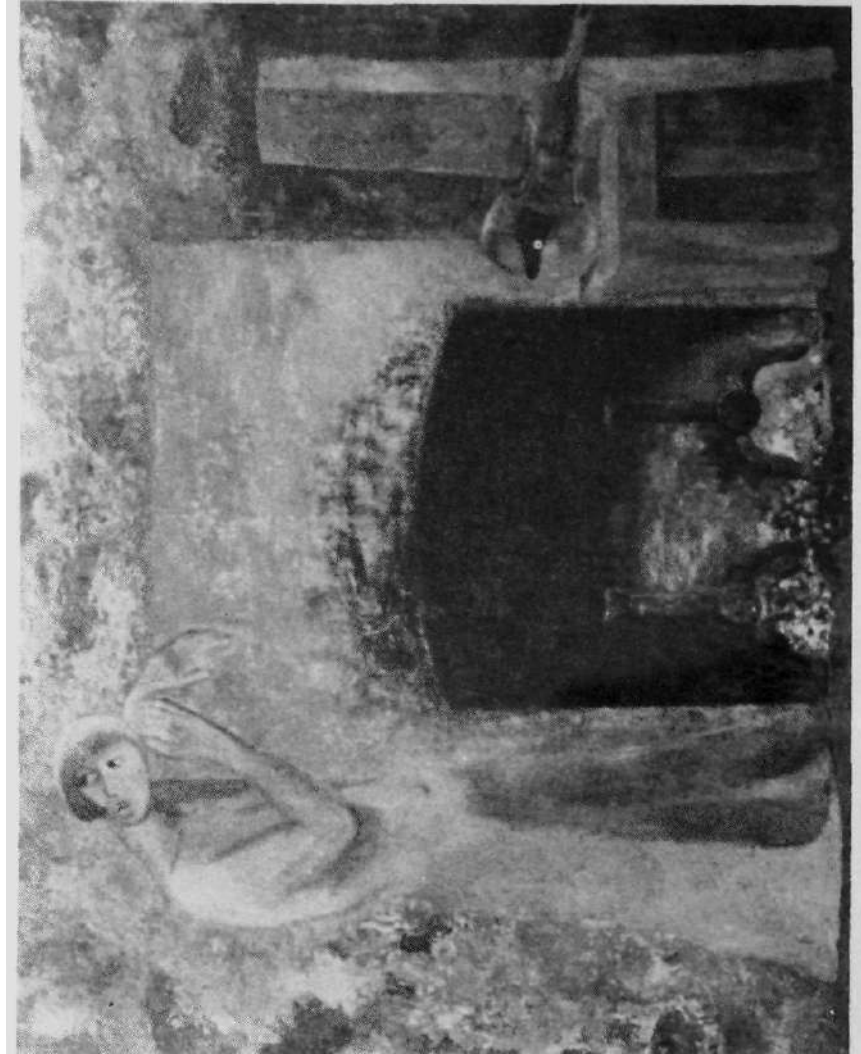
Ася КУНИК



Три времени. Холст, масло. 1969



Автопортрет в профиль. Холст, масло. 1978



Памяти друга. Холст, масло. 1979

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ



Автопортрет в профиль. Холст, масло. 1978

Зиновий ЗИНИК (ГЛУЗБЕРГ) — писатель. Родился в 1946 году в Москве. Учился в Художественной школе живописи и ваяния на Кудринской улице, в Московском университете, на курсах театральной критики при журнале "Театр". С 1965 г. публиковался в советских периодических изданиях как театральный критик и журналист. Эмигрировал в 1975 г. В настоящее время живет в Англии.

Игорь ПОМЕРАНЦЕВ — журналист и писатель. Живет в Англии. Печатается в русских и зарубежных журналах: "Синтаксисе", "Ковчеге", "Континенте", "Survey" (London), "Partisan Review" (Boston).

Илья СУСЛОВ — родился в 1933 г. После окончания Московского полиграфического института в 1956 г. работал начальником цеха в типографии "Детская книга". Затем работал в журнале "Юность", "РТ". С 1967 по 1973 год был заместителем заведующего отделом сатиры и юмора "Литературной газеты", редактировал ее "Клуб 12 стульев". В 1974 г. эмигрировал в Америку. Был грузчиком, работал в типографии, продавцом, затем в "Голосе Америки". Сейчас работает редактором в русском отделе журнала "Америка". Член редколлегии журнала "Время и мы".

Эдуард ШНЕЙДЕРМАН — родился в 1940 г. Окончил филологический факультет Ленинградского университета в 1965 г., написав работу о Саше Черном. Позднее поступил на службу в ЛГАЛИ (Государственный архив литературы и искусства). Пишет стихи более двадцати лет, никогда их не печатал. Настоящая подборка публикуется в нашем журнале без ведома и согласия автора.

Михаил АЙЗЕНБЕРГ — родился в 1948 г., окончил Московский архитектурный институт. Работает реставратором. Живет в Москве.

Софья ДУБНОВА — родилась в 1885 г. в России. Училась на Бестужевских курсах, потом в Петербургском университете (историко-филологический факультет). Первые стихи напечатаны были в 1910 г. в журнале "Аполлон". В 1911 г. вышел сборник стихов "Осенняя свирель". Работала в журнале "Летопись", выходившем под редакцией А.М.Горького. С 1942 г. живет в Америке. В 1973 г. вышел сборник "Стихи разных лет".

Евгений НАКЛЕУШЕВ — родился в 1942 г. Окончил Московский университет (факультет философии), учился также на физическом факультете. Преподавал философию в Педагогическом институте в Павлодаре. После увольнения за "идеологически чуждые взгляды" по специальности не работал. Эмигрировал в 1978 г. Живет в Нью-Йорке. Выступает с философскими статьями в русскоязычной и зарубежной прессе.

МАРРАН — Рукопись пришла по каналам самиздата. Сведениями об авторе редакция не располагает.

Владимир ШЛЯПЕНТОХ — родился в 1926 г. Окончил Киевский университет в 1949 г. и Московский статистический институт в 1950 г. Социолог. Работал в Новосибирском университете, а затем старшим научным сотрудником Института социологических исследований в Москве. Эмигрировал в мае 1979 г.

Александр и Лев ШАРГОРОДСКИЕ — писатели-сатирики. В Советском Союзе писали для эстрады. На Западе после эмиграции выступали в "Новом русском слове" и других русскоязычных изданиях. За свои юмористические рассказы были удостоены премии Даля. В настоящее время живут в Швейцарии.

ЖУРНАЛ "ВРЕМЯ И МЫ" — 1982

УСТАНОВЛЕНА СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

Стоимость годовой подписки в США — 39 долларов; для библиотек — 44 доллара; с целью экономической поддержки журнала — 50 долларов; стоимость пересылки — 4 доллара. Заказы и чеки высылать по адресу главной редакции: "Time and We" 475 Fifth ave, suite 511 a, New York, N.Y. 10017.

Стоимость подписки в Израиле — 450 шкалим; для библиотек — 480 шкалим; с целью экономической поддержки журнала — 520 шкалим; стоимость пересылки — 50 шкалим. Заказы и чеки высылать на адрес израильского отделения журнала "Время и мы" : Иерусалим, Талпиот мизрах, 422/6 (зав.отделением Дора Штурман-Тиктина).

Стоимость подписки во Франции — 200 франц. франков; для библиотек — 220 франков; с целью экономической поддержки журнала — 240 франков; стоимость пересылки — 20 франков. Подписка осуществляется по адресу главной редакции в США, а также во французском отделении журнала "Время и мы".

Стоимость подписки в Германии — 89 нем.марок; для библиотек — 99 марок; с целью экономической поддержки журнала — 110 марок; стоимость пересылки — 10 марок. Подписка осуществляется по адресу главной редакции в США, а также у представителя журнала в Германии.

Во всех других странах подписка осуществляется по адресу главной редакции, а также у представителей редакции.

Стоимость подписки авиапочтой в США — 78 долларов, во Франции — 400 франков, в Германии — 178 немецких марок.

"ВРЕМЯ И МЫ" — 1982 ГОД

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Фамилия.....

Имя.....

Адрес.....

Подписной период.....

Прошу оформить подписку на журнал "Время и мы" на.....год. Высылать с номера..... Журнал высылать обычной /авиа/ почтой по адресу

Подпись.....

Примечание редакции: чек выписывается по-английски на имя журнала "Время и мы" /Time and We/.

Из Германии, Англии, Франции и других стран чеки могут высылаться либо непосредственно по адресу главной редакции, либо в адрес представителей журнала.

Подписка оплачивается в американских долларах чеками американских банков и иностранных банков, имеющих отделения в США, и высылается по адресу: "Time and We"

475 Fifth Ave, suite 511a, New York, N.Y. 10017

Оплата через представителей журнала осуществляется в соответствующей иностранной валюте.

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.

MAIN OFFICE:

475 Fifth Ave, suite 511a, New York, N.Y. 10017

Художественный и технический редактор

Виктор Добров

OCR и вычитка — Давид Титиевский, декабрь 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

**На четвертой странице обложки: Лев Межберг. Морской натюрморт.
Уголь, мел.**

